

# Даже, если бы...

## Страшная сказка для очень старших научных сотрудников

АЛЕКСЕЙ БОСЕНКО

Даже если бы было, так, как хочется, и шло, как складывается в представлении, полностью соответствовало ожиданиям и чаяниям, все равно все было бы не иначе, хоть и происходило бы само собой.

Ни о чем не нужно жалеть.

Жалеть не стоит о том, что было или могло бы быть, но не случилось.

Жалеть нужно о том, что быть не могло никогда и не было.

Современность уже не последовательна. Развития не происходит. Это какая-то контаминация — смешение двух или нескольких событий при рассказе, вкладывание одного в другое или литературное произведение в другое. Так что контаминация видов искусств властвует, подпитываясь одновременностью, а уже она претендует на то, чтобы выдавать себя за со-временность. Образы вторгаются один в другой, образуя причудливые смешения. Аттрактор (от attract — привлекать, притягивать — множество состояний, точнее, точек фазового пространства динамической системы, к которой она стремится с течением времени. Динамическая точка и периодическая траектория в окрестностях достигаемого, которых не существует в реальности). Это от бессилия мудреные слова, для вящей научности, на самом деле во всех этих, с ученым видом изрыгаемых «фракталах», «орбиталях»,

«шифтингах» смысла немного, не возбраняется, но весь этот хлам — необъяснимо цветущая «Sambucus nigra» (хорошо хоть не *ebulus*) у киевского дядьки (а также московского, парижского и прочих), косящего под «пейзанина» и пробавляющегося «Буколиками» в огороде, причем корысти ради [1].

И философия не остается остороной, смешивая смыслы алхимическим способом, наобум, довольствуясь *влекёжем* в никуда. «Чего-то мучительно хотелось: То ли осетрины с хреном, то ли конституции, то ли ободрать кого, но ободрать первее» (Салтыков-Щедрин). Рутинный повседневный экстаз. Попытка остаться, обреченная, отягощенная речью на неудачу. Вымерший язык «бо» уже при моей жизни, заклинающий жизнь и существующий без носителей. Ясно выраженное «Оставьте меня». Навязчивая идея одиночества, вычерпанного дотла. Оно даже одиночеством быть не может, поскольку в своей бесконечности не определено как «одноединственное», в чем совпадает с абсолютным, неопределенным даже бесконечностью и вечностью, но уставшим от своих атрибутов, от которых некуда деться. Одиночество не одно, оно — ни одного, даже отрицания всего и того нет оправлено, оплавлено безразличной мелочной внешней необходимостью. Ленивое: «Написать, что ли?». Да уж сколько накарябано, наверче-

но. И новостью не является. Все всё знают. А не знают, справятся по ссылкам, по блогам и уличат тебя в некомпетентности, потому как в дезориентирующем пространстве Интернета не так. (Причем априори, на основе, добро бы, *единичного*, нет, *частного* суждения вкуса: «А мне ндравиться и усё»; Интернет отнимает память, и делает ленивым хотя бы и в патологическом азарте поиска, заставляя терять память в этом бездумном, потребительском рытье на его свалке, в перекапывании лежалого мусора, что нарыл — то твое. В паутине слухи, клевета, «деза», жаренные факты и даже точная информация обезличиваются и как во времена интервенции и гражданской войны молчаливо имеют хождение словно фальшивые «деньги духа» в качестве общеупотребимой логики потребителя, когда «керенки», «сов. знаки», «колокольцы», петлюровские карбованцы, махновские и прочих батек и атаманов билеты («Гоп, кумэ, не журися, в Махна гроші завелися...») весь этот хлам ходит наравне и без пределов в зависимости от конъюнктуры. То, что нафантазировал тихо Борхес, свершилось. Библиотека Укбара стала реальностью: бесконечное внедрение ложных представлений изменило лицо мира, правда только для толпы. При этом вопрос об авторстве вообще отпал, как некорректный. На правовом поле ничего не растет, сей хоть зубы дракона, говорившего на языке истинной речи. Идет самозахват языка, информации и это ни хорошо, ни плохо, — вполне естественная реакция на паразитирующий характер собственности. Своего рода точка зрения паразита на паразитологию. Присвоил, ну и пользуйся тихо. На самом деле «твое» только провалы в памяти и рассеянный склероз. «Одиночество в сети», кажется, был такой роман скоротечный в повседневности. Идеи распространяются как волны, так же банальны, каждый захваченный этим процессом сам становится передающим контуром. Конечно не в Сети дело, не Интернет (сам заставляющий упоминать себя с большой буквы) и злодеи в белых халатах, компьютер-

щики виноваты, но в остановленном мгновении, которое не прекрасно, не безобразно, — просто никакое, бескачественное количественное пространство, вернее свалка, в которой большинство роется и копошится в поисках «найденных объектов» и диковинной информации. Не очень интересно знать, что заставляет писать и искать мотивации, какая разница, может быть это равнодушие пространство, которое хочется окликнуть, а еще лучше обругать, нарушив молчание. «Этэгэй! Эй, кто-нибудь! Люди-и-и!» А оттуда: «Да пошел ты» И ты идешь, куда хочешь, потому что свобода «от». В любом случае куражу нет.) Чего огород городить из общеизвестного. И вот, понимая, что особо упираться не стоит, все равно ничего путного не создашь, поскольку обречен на подражание, на копирование образцов, приговорен быть ассоциацией, смутным намеком на иное, цитатой, сначала делаешь это идеологией, создавая коллажи, вступающие в случайные связи, случайных подвернувшихся предметов, идей, слов, всего этого trash'a, мусора, отходов, где каждый обломок отсылает тебя к бывшему целому, исчерпанному, отработанному, а потом последовательно превращается в перформенс, потому что и жизнь сплошной перформенс и даже на театр, нет, на балаган не тянет. Нет сил играть самые примитивные роли, какое там «Быть или не быть», конечно «не быть», но «Кушать подано».

Поэтому одиночество — в недостигаемости, в ожидании, без осуществления, оно только предстоит, и весь смысл в ожидании, что никогда не наступит. Обездвиженность никак не решается на движение. «И колеблется тупица, думая на что решится» (Гете). Потому старается пройти незамеченным, тихо исчезая в себя в бесконечном самодроблении, мельчании, мелкие поступки, хорошо, что хоть не мелочность.

Роман Якобсон очень хорошо это понимал, посвящая статью Хлебникову с эпиграфом из «Своиси»: «Мелкие вещи тогда значительны, когда они начинают будущее, как падающая звезда, оставляя за собой огненную поло-

су; они должны иметь такую скорость, чтобы пробивать настоящее». С тем только отличием, что такой «мелкой вещью» является наше «Я», которое разбивается в дребезги, даже не создавая в настоящем кратер. Хорошо, когда направление от, — можно надеяться преодолеть земное притяжение. Исчезнуть без следа можно, необходимо — невозможно измениться и изменить себе, особенно по прошествии некоторого времени, хотя в этом исчезновении и есть освобождение, когда время — инверсионный след, а гонит неслыханная сверхвременная скорость, заставляющее время превосходить себя, сбрасывать время, оставляя схлопывающиеся просторы прошлого и будущего, которые не поспевают за мгновением разреженной свободы. Она невозможней и невозможней в этом ускользании. (Рождает свое чувство. Как у И. Анненского: «Но любить лишь одно «невозможно», да и то словно приобретенную индульгенцию на вполне сознательный грех уныния). А если нет, то задыхание самого времени в форме покоя, томительное свертывание мельчающей опустошенной формы форм. В их пред-убежденном движении к своему концу, в котором видит свое начало, своего рода *эдукция*, когда формы выводятся из сил материи, в которой акцидентальные и субстанциальные формы существуют имманентно, вполне по-аристотелевски. Позднее стало вполне очевидным, что форма — это процесс разворачивания противоречия и доведения его до разрешения, в котором исчезновение и возникновение атрибуты одной субстанции, оного действительного движения, действие которого состоит в самом действии, в том числе и чувства, являющемся необходимым атрибутом субстанции, без которой она не может быть собой.

Это не догматическое Богословие, у которого эту идею о начале души благополучно позаимствовали, напомню, что догматизм, кроме того, что к нему относились с почтением такие ученые мужи как Лейбниц, Декарт, Спиноза, Мальбранш, и, на мой взгляд, вся немецкая

классика, даже Кант со своими «Критиками», по сути, сохранил свое принципиальное отличие от скептицизма со времен древних, когда к догматикам относились те, кто признавал принципиальную познаваемость мира, а к скептикам наоборот. Четкую и однозначную границу провести невозможно. Однако если мир непознаваем, тогда о чем и чем? (К тому же для современности вопрос о познаваемости решен уже вполне, теперь проблема, а стоит ли такое познавать? И тем более создавать. Творчество ведь само по себе репродуктивно, а не продуктивно, как полагали еще недавно. Себя то оно воспроизводит в одной и той же определенности, да и все, что можно создать уже есть в другом, в прошлом и в ином отношении, и при этом догматично как материальное движение вообще.) А познаваемость по-прежнему доказывается практикой, причем, когда эта практика есть, то вопрос о познании отходит на задний план, уступая место действию пребывающему и продолжающемуся, у которого возможность есть только атрибут или *conatus*, т. е. сила, усилие, стремление, которые только последуют, пребывая в состоянии возможности. Это предположение Лейбница о простых и неделимых субстанциях, мною не приемлемое, тем не менее отлично работает в условиях дурной множественности относительной случайной свободы, которая буквально, не может быть, однако есть, хотя и несущественна, «как истина самостоятельного сознания», которая «есть рабское сознание», — согласно Гегелю. Это еще не свобода, но своенравие формы, ее «отвратительная фатальность», где она «для-себя-бытие» чистой негативности. Преформация. Импутация (*imputation*) направления, со всеми этими морализаторскими; «свободой воли», «вменяемостью», «свободой выбора», «обязанностью», «виной», ответственностью», которые «ставятся в счет», в вину субъекту, несущему ответственность за несодеянное. Кокетничая с терминологией «акцидентальная каузальность», где причина не «настоящая» и является следствием

случайной свободы. И все это восходит к небезызвестному диалогу Джордано Бруно «О причине, начале и едином» и даже дальше, к Аристотелю, а может и еще ко многим, поскольку любая идея проецированная в прошлое, обязательно уловит отблеск своего подобия и будет узнаваема во всем от египетских мистерий, китайской и индийской философии, от мифологии до того, что еще только грядет на неизвестном языке. Ведь как для нас арамейский или шумеро-аккадский, так и мы для мертвых языков скрыты и вряд ли бы нас смог воспринять тот же представитель древности. Общих языков не бывает. Как бы там ни было, но по-прежнему «от случайной формы следует отличать форму необходимую, вечную и первую, которая есть форма всех форм и их источник». Однако стоит помнить, что даже сейчас властвует не то, чтобы заблуждение, в философии его нет, даже когда авторы лукавят, подтасовывая факты и выгибая по контуру идеи тексты, как обечатку хороших инструментов, однако по-прежнему форма принудительно соотносится с началом души в искусственном тождестве, а «Универсум, несозданная природа (эминентно, во всей полноте содержащая все возможные спинозовские природы в неразличенном единстве), которые есть все, чем он может быть, действительно и сразу, потому что заключает в себя всю материю и вечную, неизменную форму ее меняющихся образов», в котором актуальная и потенциальная бесконечность, возможность и действительность, материя и движение суть одно и то же, игнорируется, хотя именно он есть формальная сущность, форма форм, которая не имеет формы. Утратив динамику философия сохранила одно неоспоримое преимущество, — она ничего не потеряла и все формы по-прежнему могут превращаться друг в друга, вся накопленная мощь этих превращений с утратой доминанты позволяет аргументы мифологического и стихийно-диалектического характера использовать в качестве очень весомых, позволяя создавать логику случайной сво-

боды. Ассоциация уравнена со способностью суждения, образ с метафизической конструкцией. Это не «все едино» а только «все равно», от бедности, но позволяет создавать искусственный воздух да в придачу «пневматологию» к оному. Дышать им нельзя, но любоваться вполне. Это выход для современного бытия духа, объясняемый если не болезнью роста, то борьбой за выживание, в том числе и из ума. Для искусства, да и философии, кичащейся рефлексией, нынешнее состояние принципиального не-развития выражается в странном словосочетании: «Это больше чем обычно, но меньше, чем “всегда”».

Исчезновение исчезновения в тщетной попытке избавиться от себя. Инерция жизни, сползающей к энтропии. Не попытка оправдания, дескать, время бездарно, а ты здесь не причем, но мало кто понимает, мороз по коже и холод как перед потерей сознания, что мы приговорены к бездарности, даже если творим чудеса. Твой гипотетический талант и гениальность тебе не принадлежат. Они объективны и вовсе не твое личное дело, хотя и не без участия. Жизнь на пределе. «Ветер-пение» (Хлебников), Когда в нетерпении и нетерпимости сиюминутного, на жизнь пред-вечную времени не остается.

Недостаточно жить на пределе возможностей и даже невозможного, необходимо общественное пространство, которое может быть суровым и жестоким, смертоносным, но именно оно сообщает динамику и провоцирует решение и решимость быть, сообщая гениальность, свободную как природа, полагая ее нормой человеческого. Позволю напомнить то, что *знают?* / *забывают?* почти все, успокоившись на классическом понимании свободы, что она, сердешная — познанная необходимость и действие в соответствии с ней, то есть необходимости в форме свободы и это действие есть субстанция, атрибутами которых являются мышление и бытие, а точнее протяженность. Сама свобода — свобода от необходимости, властвующей в природе

и потому свое воплощение находит в общественной природе, уйдя в оную как в собственное основание, «фурией исчезновения» и тем, сняв противоречие необходимости случайности, став мерой этого отношения, Свобода заканчивается постыдной во многом «философией права», воспоминанием о себе. И здесь деспотическая власть ее находит крайнее выражение в произволе свободы. Сама свобода не может быть свободной от себя. Но может прикидываться самопроизвольностью. Ведь свобода — не только судьба, а еще и «не-судьба». Иногда ее подлинность превращается в подлость. Поэтому, парадоксально, но даже у Гегеля, и особенно у Гегеля свобода напрочь лишена развития. Она вступает в сговор с несвободой (своего рода общественный, если не брачный договор) с которой теперь, а не с необходимостью является явным антагонистом, причем не-свобода может быть только там, где есть уже достигнутая свобода. Поэтому свободу предусмотрительно оставляют в *быть может*, рассудочно со всей полнотой здравого смысла отказываясь от нее из чувства долга. Достаточно идеи свободы, которой можно приносить человеческие жертвы. А между тем дело заключается не только в том, чтобы довести свободу до своего понятия, но и разрешить ей освободиться, разрешиться от себя самой. И не столько в от-решении, абсолюции, сколько освободив ее от вторичности общественной природы. (Конечно свобода не может быть ни прима ни секунда, ни первой, ни второй свежести. Свобода свободы может уничтожить себя не только уйдя в основание, но и не уйдя от себя, отступив в себя. Если свобода не уходит в основание в предметном выражении свободного времени, теряющего свою временность, как форму наличного бытия, если время не теряет своего политэкономического мистифицированного субстрата и не опредмечивает пространство свободной деятельностью как единичном выражении живого труда в универсальном всеобщем выражении, наконец, если абстрактная свобода, рожденная противопоставлением

природы и общества не превращается в конкретную свободу, то любое превращение становится наличным бытием несвободы, то есть возвратной формой, которая как куколка, умирает в себе, не в силах превратиться в бабочку. В цветок, не опровергаемый плодом. Просто в чистую негатию без самоотрицания.) В случае, когда свобода отрицает себя собственным развитием, превращается в непосредственную природу человека, она через абсолютную свободу уходит в основание-становление, теряясь как и красота, истина, добро и прочие бесконечные атрибуты деятельности в универсальном движении материи, как то же самое материальное движение. Либо она отступает, возвращается в качестве предиката своему прошлому, то есть единству борьбе противоположности необходимости и случайности, но уже с позиции все той же социальной формы движения материи (я вынужден различать в этом случае социальную и общественную форму, как две различные сущности между которыми нечто происходит временное и условное, но претендующее на вечность и безусловность). Такая возвратная свобода дробится до бесконечности, порождая исчезновением время, живя(сь) утверждением своей напрасности и выступает только чистым и безусловным отрицанием. Это область свободной необходимости и необходимой свободы, но в еще большей степени случайной свободы и произволу случайности, как причиненной свободы, предзаданной предполагающим действием. Свобода пассивна и в этом самотождественном субстрате свободы действующий и даже просто пребывающий, существующий всегда чужой. Человек надломлен внутрь себя. Жизнь для него — насилие над собой. Он принужден к бытию. Даже случайность здесь — абстрактная, то есть внешняя необходимость. Иными словами, то, что понимается со времен классики под свободой на самом деле достигнутая, овеществленная несвобода и только должна доразвиться до своего отрицания, превратившись в основание, как непосредственное дви-

жение. Именно поэтому она не имеет причины, не знает условий и мотивов, и ничего не должна, самосотворяясь из ничего, то есть вневременно. (Надо ли напоминать, что и время не является внутренней формой созерцания и пространство — внешней? Кантовские идеи — только частный случай и только случай, хотя и работающий местами, особенно в искусстве, где притязания рассудка еще не преодолены и будут преодолены в последнюю очередь, каким бы безрассудствам несчастное не предавалось взаимно-образно с философией, на паях, в натуральном обмене). На самом деле свобода — прорыв во времени и пространстве — «лавинообразный пробой» и происходит в «самом слабом месте» — в-себе-и-для-себя, в «дело-действии».

В разе *абсолютной свободы в основании* — полнота бытия как свершение всех времен, и это область трансцендентальной эстетики, поскольку причинно-следственные связи уже сняты в логике, а главное — в действии свободы. В *случае случайной свободы* получаем безмозглую область трансцендентальной даже не психологии, просто иллюзии, занятой своими ощущениями и мотивациями немотивированных телодвижений, бесконечными нумерическими вариациями потребления, потребления до изнеможения. (Я не хочу перегружать мембрану текста пылью цитат, хотя без пылицы на крыле бабочки не летают. И вариации здесь многочисленны от Гете, недоумевавшего, как это гусеница в бабочку превращается, до Линнея и Брэма, от любви Набокова к чешуекрылым и до ненависти Томаса Манна к «этим омерзительным тварям», все это распространяется не только на идеи, высказывания, но и на слова. В любовном цитировании, где ты прилежно обрываешь крылья, вроде какого-нибудь Хёрста, чтобы выложить из них, уже-существующих свою картину, как-то забываешь, что тебе-то это насквозь видно и вбрасываешь труху чужих, сбывшихся текстов, в надежде уловить нечто грандиозное). А для тебя удивительным становится все не по недомыслию, а потому, что чело-

веческие мерки, антропоморфность, «нормальность», если хотите, уже ненормальны и ты, замирая, за-миром обнаруживаешь, что видишь и, пожалуй, видишь по-истине, и с сожалением и это чистая интеллигенция — субъективность бесконечной формы. Только и остается что «абсолютная субъективность, которая вовсе не предполагает полагание различия, как определения содержания, ему нет дела до осуществления того, что есть для другого и для другого себя», как предлагал Гегель. Откровение есть, но оно несвободно, из бесконечного суждения в бесконечной форме, действие одиночки, превращается в бесконечное осуждение, тягостную болтовню в бездействии, запертого под чужой личиной в индивидуальность/инвалидность человека, где ни о какой «форме всеобщей республики духов» (Лейбниц) не может быть и речи, а свобода — всего лишь мера и рефлексия несвободы во всей полноте и невыносимости. Смаковать подробности? Увольте. Вся эта «фуза» — грязный замес на палитре, уже изначально заранее делает человека не только случайным, но и лишним. Единственное величие в том, что человек знает об этом и потому может противопоставить всю свою, пусть случайную свободу всей бесконечности, всю свою смертность всей вечности, не прибегая к богу или его подобиям в виде абсолютных атрибутов: Истины, Добра и Красоты и т. д. поскольку «Философия духа — это эстетическая философия» (Гегель). Этого недостаточно, но хотя бы это. Все подобное слишком известно, поэтому лишняя ссылка на Маркса или на Бодрийяра, экономиста Леонтьева, на бесконечные авторитеты и исследования ничего не прибавит, замечу только, что и в первом случае и во втором любая логика, кроме догматической, бессильна. Если, читающий знает то доказательство в доказательстве не нуждаются, если не знает, да еще и настроен скептически, то доказать такие положения невозможно, поскольку (все таки поскольку и следовательно) и абсолютная и случайная свободы не «потому что», они не имеют причинно-следственных свя-

зей, сразу являясь не тем и ни этим, не природной сущностью, а потому являясь из ничего. Реальным основанием свободы в природе, когда она еще не при-роде человеческом а в-себе — «перерывы постепенности», «узловые меры развития», «скачки», «разрывы», хотя конечно все это не одно и то же. Дискретность порождает время и его множественность в противоположность единству вечности и потому свобода времени, пребывая временами, имея не только восходящую ветвь развития. Но и нисходящую, утрачиваемую. При этом двойственная природа свободы в том, что, имея степени, не может быть не только относительной, но и абсолютной. Не может разрешиться и быть свободой вполне, а только вернув себе природу, вернувшись в свое основание — исчезновение и только со временем. И уже есть прописанный и продуманный способ такого развития, а не реверса, как нынешнее время, просто отымающее свободу ради победы времени, потому что изъян бытия или даже самого времени умножает само время и его основание в лице бесконечной смерти. Я не пугаю. И более того, считаю, что бессмысленны сами прогнозы конца света, который предрекается с самого начала этого света и исполняется неукоснительно, поскольку у каждого он свой. Заниматься предсказаниями вообще глупость несусветная: ну что с того, что я прав и действительно укажу точную дату физического уничтожения человечества, если не могу предотвратить катастрофу. Каких-нибудь пять миллиардов лет... А может завтра. Что бы вы делали, если бы знали точную дату своей смерти? Да то же самое или ничего. Если она произойдет, то произойдет, а если нет, то нет. Я рассматриваю вопрос только в рамках достижимых, обоснованных, доказанных и действительных решений, для которых есть все основания, возможности и силы. Однако то, что происходит, создается не по глупости, а вполне сознательно, в полном сознании происходящего. Здесь все подчинено абсурдной рациональности — в этом уродство ситуации. Поэтому, видя безнадежность проис-

ходящего, я предпринимаю не менее безнадежную попытку писать, и это все равно, что писать хокку на песке, перед приближением цунами. Красиво до тошноты. Или ждать, когда Солнце взорвется, еще тошнее. Но не гаже, чем участвовать во всей этой бессмысленности, дичая вместе со всеми. (Встречаются иногда странные явления, вроде того же Максима Кантора, и уже не «Учебник рисования», а «В ту сторону» с апокалиптическими предчувствиями тотальной гибели в случае, если это случай не преодолен, очень напоминает то, что чувствует каждый уже не здраво, но еще мыслящий человек. Чоран, поставивший последовательно точку, и Делёз, и Ясунари Кавабата...). Это не обязательно соответствует физическому времени и привязано к календарю, такое происходило и во времена Вертера, и тысячи в своем личном Апокалипсисе. Но здесь другое, Апокалипсис конец мира, но не конец света, а нынче смерть унылая от того, что ничего не происходит. И это тот случай, когда не радует сходство несходного и совпадение совершенно разных точек зрения удручает, доказывая, что это не твое заблуждение или недомыслие, а уже почти неумолимая закономерность. Почти, потому что если это так, как *мрачнописует* М. Кантор, то какого же рожна издаваться бешеными тиражами. Во имя чего? Когда-то Ю. Тынянов говорил Каверину, у некоторых вино вместо крови, а у него уксус в крови или даже муравьиная кислота, я согласен на простую кровь, обычную, не дурную, лишь бы не «горячий желудочный сок». (Иногда страшновато вспомнить, что сам ты выжжен дотла как не Александровская, но уже Петербургская библиотека РАН, которая старше Академии, древнее Французской, Британской и Библиотеки Конгресса, горевшая на твоей памяти, как твоя память, и при тебе были утрачены и картины Ван-Гога, и Рембрандта, и все это прошло почти незамеченным, как и затонувшая и ставшая почти мифом твоя страна, в которой теперь, впрочем, чисто, потому, что вся грязь и все, кто ее предали трепыхаются в нынеш-

нем отстойнике, а там, поэзия, музыка, и все остальное оставленное такие, какие они есть сами по себе. Кому расскажешь о духе времени, довольствуясь лишь запахом мысли, если истина никого не интересует. Для этого надо уметь видеть и восхищаться, чтобы понять, что та же Петербургская Академическая библиотека работала в осажденном блокадном Ленинграде всю войну и даже получала новые поступления, и люди ходили в промерзшие залы, и это было нормально!! Так же нормально, как исполнять Третью «Героическую» Бетховена, немца, в холодном зале под аккомпанемент взрывов и это было естественно! Я рискую нарваться на снисходительные ухмылки. А что остается? Жить так, как будто ничего не случилось? Выдавать перманентную истерику современности за божественный не менее перманентный экстаз? Или нужник истории дезодорировать освежителем воздуха, имитируя свежесть мысли осторожными заявлениями, что «может быть все не так уж и плохо, раньше то хуже было». Историки одинаковые — «туалетные утята», с пятипроцентной скидкой, само собой, резвятся на nive просвещения, занимаясь дезинформацией).

И когда пеняют на время, эпоху, чтобы оправдать предательство, то неплохо вспомнить прописи о том, что человек не продукт обстоятельств, не продукт среды, он не животное и превращает все во все, все формы движения и их превращение в то, что нужно человеку, как в сущее настоящее, а не приспособливается, отрачивая по необходимости себе жабры или клыки, поэтому можно свободно оставаться собой, не пресмыкаясь в ближайшем и любом другом времени, если тебе повезло и ты жил в таком времени, когда быть человеком было естественно, как дышать. Действительно, эволюционным путем человек не выводится. Не выдупливается из кокона природы, он даже не революция, поскольку революция предполагает некое основание. Человек как выражение общественной формы движения материи приходит ниоткуда, он сам создает себя и ничего,

потому что и природа и существование материи вообще и вечности с бесконечностью не являются условием и причиной его бытия как человека. Их наличное бытие и принципиальная завершенность следствие бесконечной незавершенности практики, которая делает все лишь предикабиями одной сущности. Из ниоткуда в никуда, без заданных масштабов, на пределе, который не делится на пространство и время, вечность и бесконечность, не дробится на формы, виды, фигуры, оттенки, атрибуты, краски, звуки и так далее до бесконечности, возвращаясь и превращаясь в единое движение, которому ты принадлежишь, и все время в подробностях не может быть утеряно. Имманентность и эминентность без ограничений — вот достижение случайной свободы, которая страшна, как и всякая свобода, опасна, но не опасней смерти и беспричинна, как любая свобода. Она — может быть, «бытие-возможность» во всей полноте. Не разрыв, — прорыв. Ты сам являешься переходной эпохой, но которая не знает начальной формы наличного бытия и то, во что она разрешится.

Переходные эпохи, которые не знают, что они переходные, поскольку представляют собой вневременное чистое становление, а потому основания их не в прошлом, не в форме утраченной, и не в будущем, в которые они разрешаются случайно, а не фатально, а именно в единстве бытия ничто.

Становление, воспроизводящее свое движение, обретает наличное бытие не в статике, а в наличном бытии конкретного движения, которое то же самое становление, но воспроизводящее свою противоречивость в конкретности превращения, а не его внешней формы, являющейся как переход. Только оно не знает определенности, и его пределы и границы остаются наличным бытием существования. Таково, к слову Возрождение, не являющееся, говоря языком классической политэкономии, *формацией*. Таковым являлся и Советский Союз, вынужденный вопреки логике обыденно-



го сознания, здравого смысла, незаконно, против исторической данности и сугубой внешней необходимости, нехотя порождать иную форму общественного богатства — свободное время, которое, в свою очередь, вызывала гениальность как таковую, воображавшуюся в этом пространстве и превращавшей в нечто невероятное даже посредственностей. Хотя *невероятная посредственность*, непредсказуемая и ошеломляющая, сплошь и рядом встречается. (Своеобразная константа, постоянная бытия. Иногда приходит мысль, что поголовная тупость необходима, как щит, броня, спасение, защита от той же тупости. В ней есть некая грация глупости, мечтающей стать изящно тупой. «Отставленный мизинчик, при прихлебывании «кофье» из блюдецек». Таков весь жеманный «бомонд», считающий себя элитой.)

Там, где свободное время действительно становилось пространством человеческого развития, необусловленного ни целью, ни стоимостью, (за ценой не стояли), ни прагматизмом, не опосредованной даже формой и самого времени, и формой форм, соразмерностью, гармонией как самоцелью, и богатством в любом его проявлении, там где со свободным временем поступали соответственно его понятию и двигались по контуру не вещи, а самого этого времени, упущенного и неучтенного, не схватываемого, наконец, там, где время это *опредмечивалось*, а не *овеществлялось*, именно там и тогда создавались шедевры буквально на пустом месте, как если бы... Свято место пусто не бывает. Я не говорю о непревзойденных образцах в живописи, музыке, поэзии, литературы, филологии, вообще науки, если хотите философии, эстетики и психологии. Да, философии и психологии, в их настоящем настоящем, а не в понимании, интерпретации и трактовке тусующихся девиц и стильных мальчиков, читающих по складам в соответствиями с предписаниями глянцевого журналов вроде «Вопросов философии», «Вопросов психологии» или, того хуже «Научковой думки».

Адорно с Беньямином со мной бы согласились. Георг Лукач был бы куда категоричней. (Настаиваю это не из пристрастия к Франкфуртской школе, просто под руку подвернулись) Да и смешной Лакан в свое время нет-нет да и сверялся с Выготским. Даже если обвинять советских философов в косноязычии, а это не так, ни Ильенков, ни Библер, ни Батищев, ни Канарский, ни Гайдено и многие другие таковым не страдали, а по красоте и грандиозности идей они намного превосходят все произведенное западом за последние сто лет. Не то, чтобы умнее, образованнее, сообразительнее, но время другое и пространство иное. В самом деле, почему тот же Адорно так и не выпутался из своей критики, где он блистателен. Да потому, что для того, чтобы диалектика ушла в основание необходимо еще и своего рода ее энтелехия, некое имманентное волнение души, которое свою непосредственность сама о же и производит создает как музыку не только абстрактной свободой, произвольным шевелением. Причем непосредственно, а не только производной от живого движения, в котором атрибуты, модусы, фигуры возвращаются, *возвращиваются* актуальной бесконечностью в основание.

То, что происходит сейчас, — смерть музыки. Я не оплакиваю великую смерть, я радуюсь великой жизни. Все реквиемы всех времен и народов, все мессы — это не после, а до — это жизнь. Это очевидно любому мало-мальски сведущему любителю, не говоря уже о тех, кто «в теме». Объяснять все это барыгам с базара, значит унижать предмет. То, что всплеск этот оказал и продолжает по инерции оказывать влияние на остаточное состояние объективного духа ясно, и дела не меняет, хотя ясность такая печальна. Только на критике и специализации на оплевывании Советов паразитируют миллионы, имея свой маленький и не очень гешефт, говорит само за себя. Игра, кто смачнее и дальше плюнет и, главное, за деньги, продолжается. Не будь СССР, что бы делало современ-

ное, так называемое искусство и философия? А так — верный кусок хлеба с маслом на века. Достаточно сравнить, что сделано за 25 лет, начиная с 1917 года прошлого века и за последние четверть столетия. Где обещанные шедевры... Вопрос риторический. Нельзя же всерьез Илью Глазунова и Зураба Церетели, Кулика или Никоса Сафронова считать художниками. Они назначаются. Равно как Михалкова или Звягинцева, вкпе с Лунгиным и Германикой, светочами современного кинематографа. (Речь не о них, трюизмом стал тот факт, что авторский, режиссерский кинематограф выкорчеван и уничтожен до седьмого колена и прах его развеян, а его место занял наглый, хамский убогодичный продюсерский, нудный и скучный будто попкорн и уже жеванная чужая резинка, прилипающая к подошвам. Имена здесь вообще случайны, как случайны сами их носители. Их метят словно вирус. Все легенды о возрождении «русского», «украинского», «грузинского» и прочих «кин», очередной, дышащий вчерашним перегаром рекламный клич нанятых зазывал, критиков, критикесс, рецензентов, членов и «членш» очередного жюри, скучных до зевоты и политизированных до неприличия фестивалей, что относится к всевозможным западным тоже. Мировое кино умерло (Ж.-Л. Годар, а посему «Спасайся, кто может!»). Так и болтается между голливудом и болливудом. «Сапожники!» И впадать в меланхолию по этому поводу нет причин, равно как и писать глубокомысленные книги, вроде «Кино» Делёза или вымученных опусов Ямпольского, померло так померло, не о нем речь и не тревожить мертвых, от Эйзенштейна до Зибберберга, наобум выскубывая имена, потому что достигнута такая плотность, сплошность, что проблема выбора действительно проблема выбора, плюнь, не ошибешься.) Если уже девица Денежкина — преемница великой русской литературы, то остается только сливать воду. О западных писать скучно. Все эти озабоченные, вроде Миллер, Беккбедера, Уэльбека, Кудзее, Элинек и др., плодящиеся как гниды без

границ — просто «Дети мертвых» «В ожидании варваров». Не их вина, тем более, что талант и гениальность не врожденны. Другое время. Чужое. Иное дело, что они не могут, просто не могут, как бы ни тужились, какие бы усилия не прилагались. Тут ведь не только о временных пределах, когда тупость наступает газовой атакой и ничего не поделаешь, но и пространственных, рядоположных. Достаточно вспомнить как стремительно тупеют люди эмигрирующие, например в США, причем в любой области и не только наши, действительно с другой планеты, тот же Питирим Сорокин или Набоков (от одних только лекций по русской литературе оторопь берет, но и той же просвещенной Европы, любой попадающий на другую сторону океана превращается в жизнерадостного идиота, будь он хоть сам Хименес или уже упомянутый Адорно... Можно бесконечно перечислять мартиролог, но суть в том, что тупость неизбежна и обязательна к исполнению неукоснительному, более того, весь ужас, что зараза расплодится и не трогает свободных людей, пусть и случайно свободных, она требует сознательного отупения, добровольного и свободного. Самое страшное, и это действительно страшно, что яд разлагающегося времени *распространивается* и на все прошлое, делая его прочим, и на будущее заодно. Он лишает все жизни. Время делается не интересным, как выразился бы Карпентьер, теряет чудесную реальность, бессмысленно клонируя бесконечность как «то же самое». Просторы, пределы подпираются «задним краем» (Платон) предела, утратившего бесконечность. Человечи брошены как таковые. Горе покинутым, даже если они не побеждены. По какому-то выверту памяти вспоминается эпизод, описанный у Георгия Иванова. Встретил Блока: «Стреляют, — говорит он. — Вы верите? Я не верю. Помните из Тютчева:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,  
Воскресими для новых похорон...

Мертвецы палят по мертвым. Так что, кто победит — безразлично.

Кстати, — он улыбается снова. — Вам не страшно? И мне не страшно. Ничуть. И это в порядке вещей. Страшно будет потом... живым». Это нынешнее время такое, когда молодым не страшно, потому, что они не молодые, а старикам не страшно, потому, что у них отняли старость. Здесь до пенсии подают надежды и обещают. И речь идет о возрасте самого времени, где поэзия и музыка, вообще дерзость духа не измеряется количеством седины и обретенных, добытых лысин со званиями и регалиями; об объективности духа, но и его отсутствии, независимого от нашего сознания и ощущения и уж точно от чувств, которые просто не знают, что делать во внезапно свалившейся ниоткуда отрицательной, негативной свободе, упраздняющей само их существование, когда сама любовь, как издевательство, как насмешка и ее ненавидят только за то, что она даже не есть, а только может быть. (Когда-то эту ненависть к любви гениально показал Абуладзе в «Древе желания».)

Я не о том, что вся Латиноамериканская литература, весь мировой кинематограф (вспомним Бергмана и его высказывания, что «существует только советское кино», или Ж.-Л. Годара, которого Франсуа Альбера назвал «Последним советским кинематографистом», или весь итальянский неореализм), вся французская и английская, испаноязычная, вся мировая поэзия совершили прорыв к новым формам, новым как мир чистым смыслам, благодаря, пусть не оправдавшему надежд советскому пространству, я о том, что бездарность становится объективной силой, как и невежество положительным качеством, подлость — добродетелью, а пошлость — вершиной вкуса и его критерием исключительно во времена попятных движений, когда время свертывается как скисшая кровь. Современное кино своим стеклянным глазом ничего не видит, сколь не протрирай. Современная философия безмозгла, хотя в желании понравиться потребителю, уже давно отказалась от имени, провозгласивши своими наследниками червей. Кустарная, ремесленная,

промышленная, любая, но человеческая сменяла обычная органика массы. О музыке вообще и говорить нечего. «Маэстро, урэжте!»). Иными словами, если время ведет свое происхождение от исчезновения форм наличного бытия, которые своей смертью порождают лишенность, которая и временит, то в возвратных формах происходит наоборот — время своим прехождением порождает время же, умножая его измельчением. Время крошится и бытию негде и нечем происходить. Там где время опредмечивается — оно свободно, где овеществляется — случайно. Это грубо, но это так [2].

Время становится пустым и все сущностные силы, там, где они остались, обрушиваются, уничтожая и унижая человека своей возвышенностью, своей красотой, а в общем все стремление сводится к тому, чтобы человек превратился в овощ, а еще лучше в камень. Чувства оставлены за ненадобностью. И никакими скандальными заявлениями, действиями, теориями, не позволяют вывести парализованную человеческую, все еще конвульсивно вздрагивающую массу из комы. Человечество погребено под своей распавшейся и обрушившейся историей. Оно само для себя невыносимо. Сплошные провалы в памяти. (За которые некоторые нынешние Бендеры-историки пытаются брать деньги, чтобы не проваливались).

Именно поэтому достаточно взглянуть на людей, которым пришлось жить на сломе двух эпох, чтобы увидеть, что мы лишены даже заката грандиозного и величественного, который переживала античность, с тоской предчувствуя приход иных времен. Никакими личными сверхусилиями, нечеловеческим перенапряжением невозможно этому противостоять. Тотальная усталость. Не аскеза, но принудительная нищета духа. Современность — лепрозорий. Тот же Михалков периода «Неоконченной пьесы для механического пианино» сам становится механическим пианино, создавая дешевки, шлягеры, не нужные и самому потребителю. И он иначе не может. Иоселиани «Певчий дрозд»

и третьесортные фильмы времени эмиграции вроде «Шантрапы» или «Садов осенью». Тарковский с «Зеркалом» и его честные, но потухшие последние фильмы. Грабовский и Сильвестров до и после. Губайдуллина, Артемьев... Да и музыканты очень технично продвинутые стали играть с какой-то пошлой, ресторанной удалью. Я говорю только о тех, кто жил на сломе. И только очень немногие играют стоя, оказывая сопротивление, как в феллиниевском фильме «Репетиция оркестра». Бродский ленинградского периода и опосля лауреатства, да и вся пишущая братия ныне. Невероятно талантливый К. Свасьян, путивший свою гениальность в расход. Разменяв страсть к философии, неподдельную, настоящую, на социальный заказ. Время стало долготерпеливым, утратив нетерпение сердца. Бороться с глупостью и невежеством бессмысленно так же как сражаться против непонятого, незнаемого и удивительного, оглядывая все вокруг оскаленными глазами. Мы обречены на принудительный идиотизм, кем бы мы ни были, тогда как нам предшествовало время, которое даже из бездарей делало гениев, я не говорю об очень посредственном писателе М. Булгакове, который посредством времени стал гением, но даже такие как Тихонов прорывались талантливыми строками: «Мы разучились нищим подавать, / Дышать над морем высотой соленой, / Встречать зарю и в лавках покупать / За медный мусор золото лимонов...», потому что возвышенна была сама эпоха.

Меньше всего хочется изображать из себя нео-Писарева, Добролюбова и заниматься некрасовщиной, выказывая совсем не по рангу священное негодование и взывая «Укажи мне такую обитель, я такого угла не видал». Или «косить» под Достоевского, которого пошлейший В. В. Розанов по-хамски на совесть пнул: «Достоевский, как пьяная нервная баба, вцепился в «сволочь» на Руси и стал пророком ее. Пророком «завтрашнего» и певцом «давно прошедшего» [II], и следующее: «Сегодня» — не было вовсе у Достоевского» [III]. Да не о нем.

Не о них речь. У нынешнего тоже нет ни сегодня, ни вчера, ни завтра, и это не повод искать в истории прецедентов для оправдания собственной низости, зато есть то же самое. То, что нет будущего и настоящего ни прошлого, у некоторых — пустяки, когда есть разворачивающееся движение, но когда множащаяся гнусь, тогда ведь единство в том, что при всей отдельности, атомарности. Гноящихся отрицаний будущего, настоящего и прошлого, времени нет ни у кого, даже у самого времени. Я не совесть больная. И не лекарь, пришедший спасать запаршивевшую историю от педикюлеза. Просто рассматриваю проблему «объективных оснований пошлости» или «гениальности с талантами», меня интересует только вопрос «могло ли быть иначе и как оно могло бы быть, если бы?»

Проще всего сетовать на время, его «отвратительную фатальность», пиная историю и взывая к совести и мифической духовности. История вообще — больная совесть, вся на твоей памяти, но от которой охотно избавляются, как от фантомных болей. Охочие найдутся, служители культа (любого) например, с «божественной сволочью». Тоже бизнес. Сентиментальность, елейность, общепринятые *негодованьщица*, которыми опьяняются и тотальный цинизм со скепсисом, который как сепсис заражает все. Староизвестное, почти библейское «Невежество — демоническая сила, которая становится демонической и материальной, когда она овладевает массами...» — парафраз на темы Маркса. (Кстати, беспроегрешная проблема: тут и «Восстание масс», и «Масса и власть» и «Восстание элит», и ... да сотни тысяч книг, аж оторопь берет, сколько наваляли, любопытно бы пасьянсик разложить на досуге, пока история захлебывается кровью и давится трупам.) Это общепринятый «смак успіху», основанный на жестокости. Никакой фашиствующей «Критикой циничного разума» (Слоттердайк) здесь не спастись. Призывы к «контр-осуществлению» (Делёз) — пусты и никого не эпатируют, а если бы и эпатировали, то это не делало бы им честь.

Напротив, это сопротивление, прости господи!, само с особой жестокостью организовывается промышленным способом, достаточно взглянуть на систему воспитания и образования. Потому что современное «гражданское общество» построено по принципу пенитенциарной системы, нет, по образу концлагерей уничтожения, с той только разницей, что уничтожают еще не рожденной, ампутацией сущностных сил. Ничего не должно пропадать даром, очки, детские вещи, женские волосы и кожа на абажуры... Только строить концлагеря не рационально, дорого, да и сама утилизация человеческого тоже не дешево. Гораздо рентабельнее сразу плодить дебилов такой системой образования, чтобы оттуда выходили готовые индивиды, где каждый сам себе палач, тюремщик, надзиратель и могильщик. Никаких чувств, зачем они вам, их вам выдадут. Одноразовые. Зачем вам наука, культура, все что нужно вам дадут в готовом виде. Мышление?, — вот готовые силиконовые формы, примеряйте. Будьте потребителями, и все. Будьте личностями как все. Принудительная стерилизация духа. И простое нежелание свободы. Это настолько очевидно, что доказывать неприлично, однако, видимо успех превзошел все ожидания, не видят, не слышат, но много говорят. Тем более, что в случае догматизма доказательство совсем невозможно, о чем знал Фихте, изложив догматическим стилем инвективу против того же догматизма: «Ту огромную пропасть, которая открывается для него (догматизма — А. Б.) между вещами и представлениями, он наполняет не объяснениями, а несколькими пустыми словами, которые правда можно заучивать наизусть и повторять, но под которыми, безусловно, никогда ни один человек чего-либо мне мыслил, да и впредь ни один не будет что-либо мыслить. Если же захотят определено продумать именно тот способ, каким происходит указанное, все понятие улетучивается как дым.» — и дальше: «поэтому догматика нельзя опровергнуть приведенным доказательством, как бы оно ни было ясно» и такое прочее [IV].

Однако в современном мелькании форм именно догматизм является тем единственным скрепляющим «материалом», заполняющим пробелы сильнее любого критицизма. Собственно между ними особой разницы нет. Дискретность преодолевается внешним механическим движением, создавая некую кинематографичность, которая только это движение и представляет. Я назвал бы это «чистой музыкой», так как вещи столь стремительно стремятся к своему концу, что и создают «беспредметную предметность». Однако, развития не происходит, а только случайнее изменение, упорядоченное внешними движениями. Здесь есть свое спасение в том, что все едино: миры Шумана, Шуберта, Шёнберга, Берга, Кейджа, Лахенмана или Чорана, Рансьера, Жижика, Гаспарова, Л. Гинзбург и прочих, всех, кто был в истории, перечислять можно до бесконечности, мелькают в случайном порядке, такая «алеаторика», но ты не отстранен представлением ни от шедевров, ни от мутного селевого потока, сметающего тебя или превращающего в свою непосредственную динамику. И это движение немислимо освоить. Оно — мучительный сон о бессоннице: невозможно ни заснуть, ни проснуться и движение твоей жизни, как говорят «на театре» — «моржовая партия», которая вводится в оперу на вторых ролях, для участия в нескольких ансамблях с главными исполнителями. Вырваться из этих липких объятий механического времени, которое не происходит, но измеряется жизнью, почти невозможно, потому что в случайной свободе ты и есть это самое время в этом самом времени. И ты, как и память, мгновенен — перерыв постепенности, и не длишься.

Дело не в этом, а в том, что не менее абсурдно этому противостоять, не потому что абсурдно, а поскольку мутная жижа поглощает все. Своим сопротивлением ты делаешь ее и всесильной и действительной. Можешь осознавать, хотеть сколько хочешь создать свой мир, пусть из ничего, жить иной жизнью... Это все учтено и ты обречен на всеобщую тупость, а если на что-то

отваживаешься, то не бесполезность действия останавливает тебя, а всеобщее оголтелое *единодушие*, общеобязательная радость. Им это нравится. Наверное, нечто подобное испытывала толпа при пытках, казнях, всех этих сожжениях, четвертованиях, «казнях тысячи кусков», повешениях и гильотинировании. Ужаснулись потом. Почти. «Какая кустарщина и непроизводительность!». И срочно усовершенствовали это дело.

Я не вижу выхода. Впрочем, и не ищу, потому, что все и так ясно не надо ничего изобретать. В свое время П. Флоренский страшился «абсолютного сомнения» этого томления агонии духа: «Таково состояние последовательного скептика. Выходить даже не утверждение и отрицание, а безумное вскидывание и корча, неистовое топтание на мѣстѣ, мѣтание из стороны в сторону, — какой-то нечленораздельный философский *воплъ*», — и дальше: «Уж конечно, это — не атараксія. Нетъ, это наисвиръпейшая из пытокъ, дергающая за сокровенныя нити всего существа; пирроническое, поистинѣ огненное терзание. Расплавленная лава течетъ по жиламъ, темный огонь проникаетъ внутренность костей и, одновременно, мертвящій холодъ абсолютного одиночества и гибели ледѣнить сознание» [V]. Ну, и так далее в том же духе. Все это риторика, не страшная для нынеживущих. Жизнь превзошла самые мрачные ожидания. Только Флоренский не мог предвидеть, что описанное им состояние скептика всего лишь частный случай, субъективное ощущение. От этой геенны огненной можно спокойно отказаться росчерком пера. Даже использовать в качестве метода и инструментария познания. Нынешний скептицизм на себя не похож, он всецело объективен, и сам является основанием и следствием распада, которому не противопоставить никакую силу мысли, волю и силу духа, потому что он и есть этот объективный дух, элиминирующий человека как бесконечно малую величину, и похищающий душу. Ни о каком томлении духа речи быть не может, коль

скоро все сводится к ощущаловке. Так что если для того, чтобы чувствовать следует подвергать сомнению последние основания, то пусть будет расплавленный металл в крови и абсолютный холод, чем позорное равнодушие профессионала, которому все равно, что проектировать: концертные залы, или газовые камеры. Я не скептик, я не сомневаюсь в том, что мир должен быть избавлен от гнилья.

Общее слабоумие эпохи лишает даже права на самоубийство, не говоря уже о праве на трагедию, без которой жизни не может быть. Ампутированное воображение, изничтоженная фантазия отнимают саму способность мыслить. Отнимает возможность выбора. Нет сил. Да здравствует «бельмо на глазу» дающее возможность объективно это не созерцать и слепота, оправдывающая собственное бессилие! Искусственно привитая старость, которой почему-то приписывают мудрость.

А старость не мудрая и даже не опытная, она изощренная и беспредельно уставшая. Жизнь на пределе, утратила предел. Это утраченный ветер, потерянная волна. Как только ты начинаешь понимать, вернее чувствовать, испытывая ужас, как в детстве ночью на кладбище какую-нибудь фразу, например В. Шкловского:

Сегодня плакал в уборной.

Очень обидная вещь старость.

«Не надо; за два года вы сотворили подвиг»,

Два года не в счет.

Два года стоят в очереди.

В счет то, что чувствуешь сейчас.

Как только ты такое понимаешь, считай, что время твое истекло и надо вовремя уйти. Ты утратил противоречие, а значит ритм и мелодию, размер движения. Тебя оставила музыка жизни. Все дальнейшее имитация. Не хватает наивности, чтобы писать, все знаешь наперед и ждать нечего. Ни с места. С места не сдвинешь. Поскольку места не находишь. Дальше не интересно, потому что ты приговорен только к этому пространству, обступившему, хотя ты осторожнопосторонний, ты «который»/крайний, и угро-

жающему, но безо всякого интереса. Это ад, где чувствам не место. Ты вынужден разбирать пыльный, пропахший крысиной мочой архив, состоящий из счетов. Обратного хода нет. Жизнь невозвратна как любовь. Действие закончено. Забудьте. Всем спасибо. Но как забыть? Если оно тебя не оставляет и ты чувствуешь все сейчас и немедленно, и отнюдь не поминально-бытово.

Память — не оглядывание назад, у нее прошлого нет. Она безоглядна как любовь, если, конечно, она — любовь. Память (вглядывание (оборачивание) вперед и то, что впереди — не будущее. В старорусском языке «запоминать» означает помнить, а «помнить» — «помянуть» — за быванием не оставлять, оставляя время на память. На вечную память [VI].

Или хотя бы на долгую, как надпись на старых выцветших, пожелтевших «тогдашних» фотографиях. Это я уже однажды писал, но повтор здесь не репродуктивен, он для другого, — изменение в голосе. Попытка остаться затверженным наизусть.

Воспоминание с возрастом отбрасывают в будущее пространство, которое все короче, все более длинные тени, именно тогда, когда ни пространства, ни времени уже почти не остается. Остается «почти ничего». Грядущая бесконечность и есть «почти». Вечность, минус чья-то, моя жизнь. Потому что свет оттуда, откуда ты пришел. Тебя он гонит как солнечный ветер парус и скорость растет. Теперь уже прошлое становится навыворот, в котором растет сама по себе *Fragaria vesca*, *posiomca*, — земляника образов. «Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет...» (М. Цветаева в пятнадцать лет) Главное не впасть в *цветаевость* или *цветаеватость* от испуга, когда это все видишь впервые (впрочем и ахматоватость сродни хамоватости, барышень, специализирующихся на Имени, все равно каком. Мало их давил Виктор Топоров в зародыше).

На краю времени, на пределе вопрос не о жизни и смерти, а только о жизни. Память — это жизнь, а жизнь — искусство забвения. Времена-

ми прорастает память, временит. Память пытается состариться, но не может. И тихо заполняет пропущенное, зазоры, разрывы и воронки жизни, превращая ее в бытие, житие. Так растет трава, трудно, но без усилий. Так же необъяснимо идет дождь, и пасть не может. И талая вода ночью без всплеска заливает впадины и ложбинки прошлого, низины и господствующие высоты, подымая прошедшую жизнь гораздо выше ординара. Обыденное, которое было «ничего особенного» становится особенным и незабвенным в своей неповторимости, в печальной уверенности, что больше никогда никогда больше. Прощай и Навсегда. Баллада о вечеряющей смеркающейся любви (Дульсе Мария Лойнес) у каждого своя. Память слишком женственна, чтобы иметь мужество быть собой, она всегда с нами. Слезы времени и счастливые, и горькие, и злые на вкус соленой морской воды, особенно, когда ветер с моря.

По сути каждый из нас сам — воспоминание памяти, которая не удерживает, хотя и хватает за сердце и вся соткана из разлук, расставаний, утрат и потерь как обещание горькой свободы. Память вспоминает нас, и мы всецело ею. А поскольку память всегда одинока, она и оставляет каждому единственность и неповторимость. Внезапность воспоминаний, весь этот «шум времени» впускаешь в собственную недоступность, через восточные окна, которые служили, если верить М. Павичу, у славян для того, чтобы впускать птиц погреться на Илью Пророка.

Не надо стесняться отчаяния и воспоминаний, проступающих в проявителе времени. К сожалению — это и есть счастье; оно никогда не бывает настоящим, разве что в настоящих воспоминаниях, которые как припоминания Платона, вселяются в нас и заполняют брошенные гнезда жизнью ни о чем, и ни к чему. Повторяешься не отражаясь, в попытках запомнить, а не остается ничего. Не жалейте, вспоминая о том, что не сбылось. «Если бы...» здесь тоже сбывается. Жили в сослагательном наклоне-

нии, потому что «бы...» походит от «быть», от «бысть» или еще архаичнее от «быхъ». Жили во всех временах, кроме одного — *единственного*. Память может ошибаться, быть ложной, но никогда не фальшивит. Она смертельно опасна, и не оставляет ни одной возможности, чтобы не только быть даже, но быть вообще. Она ведь настоящее отношение человека с самим собой, настоящее, которое беспощадно, словно совесть, даже если эта память — наведенная галлюцинация, ложная. Ты здесь весь другой, чужой себе и это ослепительно будто ревность. Ядовитый, «цианистый» (Э. Чоран) язык разрушения бессилён выразить такое.

Человек как огромный ледник, зарождаюсь на высоте, сползает, плывет в долины. Ледник не просто тает, он аморфен и течет. И постепенно низины, становятся глубинами. А от истаявшего ледника остаются каменные реки воспоминаний, где глыбы не имеют граней и ни один камень не краеугольный. Только в их неподвижности и отточенный временем *формформе* слышится рокот, грохот памяти. Камни воспоминаний краеугольны внутри, в свернутом просторе бывшего небывавшего. Они мгновенны, даже если их существование длится века. Потому что жизнь проходит мимо и только человеку предстоит вечность. Не в бытии, а в явлении, где предстоящая вечность только подробность, которую человек застаёт распах.

Каменные реки не эклип, слепок, отпечаток, они — письма в ответ на несуществующие, и письма и адресат которых выбыл. Письма к себе. Они незывлемы. Такие письма до сих пор в деревнях хранят вместе с похоронками за образами по очень старой памяти. Может поэтому единственная сейчас возможность что-то писать — это философия дневников (которые отправлены до востребования и вскрываются после смерти), и все равно не себе, а живым, или в эпистолярном жанре, где не пользуются письмовником и образцами деловой переписки. Черновики — вот единственное прибежище философии. Замедленность, хотя необдуман-

ная мгновенная скорость электронного общения уже и породила новый «жанр», нет старый жанр импровизации, захлебывающейся речи, в боязни опоздать, не успеть. Вот только говорить большинству нечем, потому пользуются штампами, телетайпными сокращениями, да и сказать нечего. Скорость бессмысленного письма превосходит скорость чтения. Интернет освобождает от рутины механической памяти, но заодно и от необходимости перечитывать вновь и вновь, потому что ничего нового. Он не виноват, он — простая копия общества и при иных обстоятельствах может быть другим. У него другая поэзия, с металлическим привкусом, но поэзия. Речь — заводской шум, галдение, но можно любить и это, при определенных навыках. Скорость и мельтешение делают промельк сиюминутный и безжалостный, лишая памяти. Пустота и бессмысленность информации, кроме случаев угрозы ядерного нападения или стихийного бедствия. И только из других воспоминаний находит смутное ощущение, что ты имеешь дело не с современной электроникой, а с детекторным приемником, через который сквозь треск и шум слушаешь эфир. Есть другая, не машинная память, которая обретает объективность и существует вне нас, детализируясь до «молекулярных орбиталей» — разрешенных энергетических состояний» образов, в которых ты не отчужден от них, но пребываешь в превосходящем единстве, как будто весь состоишь из оставленного времени. Это не «заумь», которой отдавали должное опоязовцы, просто язык бессилён (сила языка именно в этом) выразить то, что остается по ту сторону памяти, в той неуловимости, которая напоминает запах двухсотлетней давности высохших цветов, случайно найденных в каком-нибудь старинном фолианте в запасниках вечерней библиотеки [3].

Мало найти, надо уметь чувствовать, и готовые к употреблению придатки не годятся, необходимы свободные чувства, которые «непосредственно в своей практике стали диалектиками», они непрестанно *становится* собой, и здесь ты



и есть непосредственная «связь времен», которой нет, но она объективно идеальным образом проявляется чувством. Ведь вся музыка и поэзия, и философия, бывали такие эпохи, превращались в прах, опустившись (*унустившись*) до своего унылого бутафорского субстрата, распавшись на элементы. А ведь они вовсе не воображаемые, не фантомные, а реальные — боль в сердце, слезы на гениальном спектакле, когда понимаешь, зачем ты жил, и не зря, вот ради этого: «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...» Да не важно, что память перевирает и не претендует на точность цитат. Память не цитирует время со ссылками и указаниями источников. Тщание документированной жизни, скрепленной стиплерами трудов и дней в реестра, когда жизнь подменена делом № с грифом, и запротоколированной биографией, должно быть сшито на суровую, но живую нитку, чтобы кто-нибудь из этого хлама мог делать свои бумажные корабли и сжигать их беспечально не оглядываясь. Может быть весь смысл памяти в провалах и мучительном забвении времени и безутешном припоминании лиц. Память все это держит на весу бережно в горсти и она определяет вес, и тяжесть, и невесомость, и легкость. Но только тогда, когда приходит ясное понимание, что смерть — это нормально, а главное обыденно, а подробности — это безуспешное, безутешное и безнадежное восстание смирения против нее, что вызывает к жизни чистую эстетику, ведь нет ни одной причины, чтобы это делать. Весомость причины оставлена на «потом», когда обрушивается ответственность за память, а до этого только удивление, растерянность и полное отсутствие направления, наивное ощущение свободы, еще не воплощенной даже в словах и в них не нуждающейся. Память — совесть по отношению к другим, но абсолютно бессовестна и жестока к тебе, да и к себе.

Подробности движения, брошенные на память, как ощутимая тяжесть, клонящая долу. Наступает время, когда наши маленькие

победы страшнее самых грандиозных поражений. Тогда рождается желание возвращаться к истокам и писать, добро бы сочиняя. Не переписывая жизнь набело, а по правде говоря.

Есть неодолимый соблазн подчистить, исправить, приукрасить, подлакировать, поменять акценты. Все усилия направлены в основном на то, чтобы не сбиться с дыхания, не сфальшивить. Ты ведь не документалист, а очевидец (хотя бы потому, что врешь как он). Память ведь страшна своими подробностями, но ее прихотливые изгибы — раковина свернутого пространства сохраняют шум внутреннего моря, хотя, конечно, это иллюзия — в действительности это грохот мирового океана жизни, отраженной и заключенной завершённой(!) в неповторимой судьбе. А вот судьба — всецело прошлым, такая одушевленная необходимость, которую уже нет смысла бояться, она вообще не имеет смысла. Жизнь начинает твориться из *ничего*. Простое сотворение мира, которое неизбежно. И узнаваемость. Жизнь начинает сотворяться из всего отворенного/откровенного, на крови. Так бывает, когда с нетерпением молодости спешить: дальше, дальше, это уже было, игнорируя ту самую даль, которая рождает простор, а от него она уходит, покидая, а тогда — когда мучительно вспоминаешь. Дескать, а ну-ка, ну... дескать, что-то знакомое, и думаешь с предвосхитительным недоверием: «Обознался?!», но вот предугадываешь, что там за поворотом, кажется, был колодец, сруб замшелый... и точно, он и сейчас есть и сквозь слезы «за ночь вьюнок обвился вокруг бадьи...» тоже здесь, как и «бабочки-рыбочки» бурлюков с крученых со всей жаждой мира и *міроколицы*.

Вот это превращение «там» в «здесь» — ни с чем не сравнимое чувство в ничем несравнимое чувство узнавания/вспоминания до самозабвения в чистой радости, что все не «как вчера», не как «тогда», а *все-как-всегда*. Новизна обычного. Про-зрение. Поле зрения полизрения вызревания. Обретенное духовидение. Откровение. Абсолютная полнота чувства, счастли-

вого своей пронзительной точностью. Точнее не бывает. Однако это новое чувство обещает, что бывает и будет. «И жизнь помимо нашей воли...» (А. Тарковский)

Вот оно ожидаемое, искомое. То, что называли «свет невечерний». Ты оказываешься наедине с чем-то необъяснимым и бесконечным, откуда не возвращаются, хотя ты уже возвращался из прошлого в нынешнее, из детства и юности в сейчас. Песни без слов, потому что когда нет слов, остается только музыка. Ясная тайна сущего. Подробности не пыль на подошвах, и не музейные раритеты, разложенные в пропыленном порядке, а любимые, как тайный голос, говорящий на утерянном языке, который известен только посвященным. Ты ими обладаешь. Они владеют тобой и всем твоим временем. То, что остается. Точность. Проточность.

Подробности, любые подробности чужой жизни никогда не бывают чужими, и дело не только в том, что как полагал Гете: «Подробность — Бог», но и потому, что врываясь в посторонние сны, она заставляет детонировать все прошлое, превращая его в настоящее будущее. Здесь не бывает банальностей, не банальней чем жить или умирать, здесь не властен ни суд, ни самосуд. Твоя свобода — только твоя свобода. Передышка, перевод дыхания. И пусть книги пишутся долго, замедленно. Их долгота — координата времени. Сплошное ожидание прошлого. А подробности и книги о них, как книги о жизни, не «книги мертвых». Подробность — «острабек», используемое египтологами обозначение артефактов греческого слова. Это раковина, а вообще то любой осколок керамики, сланца, камня, на котором с момента возникновения письменности записывали самое важное. Для кого этим «самым важным» были долговые расписки, для кого чертежи, а некоторым мысли, сродни поэзии. Не важно, в этом прозрении сквозь видения в истинном свете ты понимаешь о чем ты был. И будешь жалеть только о том, что никогда не было и никогда быть не могло. Тогда вся жизнь вспоминается как чудо, будет вспоми-

наться — «не может быть»!

Как-то один физик, не помню, кажется, Алферов, объяснял, что только невежды полагают, будто дерево растет из земли, нет, на землю оно опирается, а растет из воздуха и света. И, когда оно загорается от молнии, то жадно дышит кислородом и отдает свет и тепло обратно Вселенной. Так иногда наступает время воспламениться от воспоминаний и возвращать свет, царапающий ночь пылью звезд.

И тогда гербарии слов вдруг оживают, и книги пишутся не для того, чтобы предать память, остановив мгновение, не для изготовления приворотного зелья или эликсира молодости, чтобы вернуться, и уж, конечно, не для канцелярской справки, свидетельства о рождении и смерти, удостоверяющей, что ты действительно был, а просто так, без цели, без любви к истине, потому, что это и есть та самая любовь в ее чистом виде, страсть как таковая. А сам ты только подробность, та самая «скрипка на которой уже не играют» по словам Инны Смирновой, но она дышит молчанием, как воспоминанием о музыке, а она никуда не исчезает, как пенья про себя. Книги пишутся повторно, даже книга бытия, каждый раз, оставаясь константой в безудержном превращении и движении. Она душа это движения, где Гераклитов огонь «мерами угасающий и мерами возгорающийся» только сердцебиение, а душой этой сердцевины именно это, имени чему нет.

Чума современности нарушает неподвижность и срывает все со своих мест, вырывая незабываемые смыслы и слова с корнем. Они становятся бездомными. Свежесть не восстанавливается. Ты остаешься один на один с бесконечным пространством напротив, которое тоже ты: здесь сейчас, в прошлом и будущем. Вот она попытка уничтожения без возникновения. Вокруг вечность до окоема. Когда отъято воображение, остается создавать невообразимое. Открывается не истина — простая правда. Правда, очень похожая на смерть. Все что перед смертью — жизнь, когда время прикипает

к строке, а ты втоптан в пыль и каменную крошку времени, им припорошен. Время свертывается как кровь вечности. Сводишь счеты с жизнью, с собой, под занавес, за занавесом.

Всё кончается, как по звонку,  
На убогой театральной сцене  
Дранкой вверх несут мою тоску –  
Душенные лиловые сирени.

Я стою хмельн и одинок,  
Будто нищий над своею шапкой,  
А моя любимая со щек  
Маков цвет стирает сальной тряпкой

Я искусство ваше презирал.  
С чем еще мне жизнь сравнить, скажите,  
Если кто-то роль мою сыграл  
На вертушке роковых событий?

Где же ты, счастливый мой двойник?  
Ты, видать, увел меня с собою,  
Потому что здесь чужой старик  
Ссорится у зеркала с судьбою.

*Арсений ТАРКОВСКИЙ*

Вот это противостояние в себе тождественности. Не классическое Я = Я, но сотворенное противостояния Я против Я. Дуэль. На шести шагах. Через платок в могиле. Просто так от вселенской скуки. Все остальное оставлено и невозможно, как если бы. Как «даже». Все что тебе осталось — только расстояние, линза воздуха между отраженным и отражением, но вот этот то простор и бесконечен (приходилось мне как-то заглядывать между вогнутыми зеркалами большого телескопа...).

Образы вспыхивают и гаснут, оставляя унылое ощущение очевидной досказанностью, затертой от долгого употребления до неузнаваемости. Трудно проверить, является ли это всеобщим явлением, или это кризис твоей навязчивой индивидуальности, деревенские страдания, которые, распространяются на всю вселенную, коею, как водится «проехал, но нигде я милой не нашел», а потом воротился и «сердцу слы-

шится привет», твоя ли это исчерпанность, объективная как наступающая старость или опустошенность развития, которое больше не возможно. Прошлое настигает как рок, чья судьба меняется ежемгновенно. Оно не определено сбыльностью. Бесталанность эпохи реальна, неизбежна до отчаяния — изменить ничего нельзя, равно как измениться. Ввиду тотальной бессмысленности происходящего ничего не происходит. Россыпь мгновений, мельком запорошивающих метафизический взгляд. Невозможно даже пересматривать прошлое, листая пожелтевшие листы. Шагреневый переплет истории истлел, он и держался едва только своей необходимостью в настоящем, хотя и был обращен к нему одной плоскостью. Теперь единая некогда история распадается на буквы языка, которого никто не знал никогда. Это язык «истинной речи». Труха времен, живущих движением клубится образуя свеи и заструги случайных направлений с сиюминутной логикой пустоты. И как ни странно случайности, которые не тяготеют друг к другу и не подчиняются больше никаким законам, связям как последний вздох и последний взгляд, на слом, замерев перед пропастью, когда инерция жизни кончается и начинается нарастающее воющее падение смерти, вдруг обретают прозрение, как откровение.

Бессмысленно, а главное, бездарно хвататься за цитаты, хотя они оправданы даже если они подпорки (всегда можно сказать, что в них нуждаются, чтобы, наконец, созревшие плоды не поломали ветви разума, по осени). Их можно оправдывать в качестве костылей, что делать, если обезножил. В виде протезов, когда не хватает своего воображения, пользуются чужим. Можно уверять, как Мандельштам, что цитаты — «цикады», вцепившиеся в воздух и звучащие в унисон со временем в мареве, в полдень вечности (но тот, кто повторит это, поверит этому, уже будет «мандельштамп»). Можно из этих обрывков делать коллажи, сотворять оружие, как Стендаль, оттачивая остроумие, пользуясь

цитатой как подручным предметом, из нарезанных на ленты текстов пласти коврики под ноги, пускать на ветошь как обтирочный материал. Можно выпотрошенные явления фаршировать примерами и цитатами как «рыбу фиш», нарезая борозды за неимением винила на рентгеновских снимках, на «костях» прожитых жизнью. Можно... Можно все. Как изысканно выражался один преподаватель философского факультета: «Нет ничего, чтобы нельзя». И в этой вседозволенности, замешанной на полном безразличии и равнодушии, где роль души выполняет ее отсутствие корениться главное преимущество и достоинство нашего безвременья. Ведь чем случайная свобода тождественна абсолютной свободе. Во-первых, она безпричинна и порождена отсутствием причинно-следственных связей. Она необусловлена, а следовательно безусловна. Во-вторых, она безразлична к форме, да и к содержанию — чистое отношение совершенно относительное. В десятых, не знает направления и потому — всецело извне. Внешнее без внутреннего. Любое явление — несущественно и в этом его сущность (на чем паразитирует феноменология, кстати, незаслуженно присвоившая себе это прославленное историей имя, превратив его в торговую марку, в вывеску своей лавки древностей и колониальных товаров). Явление не имеет протяженности, оно не длится. Мгновенно. Вневременно. Определено апофатически, что роднит его с божественной природой. Бесцельно. Ни к чему не стремиться. Не имеет страстей, подлежащих чувству и так далее, хотя этого «далее» нет и в помине. Все это так. Однако есть «действительность — жизнь о жизни» (Шкловский) При этом философия уже вне жизни и признаков оной не подает. Ведь все едино отсутствием единства, распадом.

Именно этим объясняется тяготение к дискретности, попытка впустить воздух, между абзацами, между предложениями, между словами. (Только то, что раньше было высаживанием оконных рам, выставлением окон по весне, сейчас становится надувательством,

вдуванием воздуха, уже выдыханного в надувшиеся шарообразные произведения, не только книг но и любых (У М. Кантора еще радикальнее «Продавцы вакуума».) От Романтиков, Ницше, вплоть до Шкловского, Олеси, Обериутов, какой-нибудь Башкирцевой или Лили Брик, (а хоть бы и Венечки Ерофеева или еще смешнее Пелевина вплоть до самой низкопробной безвкусицы, какую бы сумму имен не назвал) властно вторгается дневниковая одновременность однодневности, но листая ее в последовательности эта стробоскопичность книги начинает подчиняться законам монтажа, обретая кинематографичность, того самого монтажа, которое кино позаимствовала у старших видов искусства, научившись композиции у музыки, живописи, архитектуры и побираясь по барахолкам. Разница этого кадрированного движения в том, что пленка засвечена. И все происходит на стыке, когда сквозь разъятость и несклеенность в разрыве проступает то, что эта пленка пытается застыть. (А побочной темой становятся строки распадающиеся на буквы, не связанные даже обложкой, не склеенные. «Буква как таковая» /Крученых и Хлебников/ и ни одна ни гласная, ни согласная. Их метет ветер эпохи складывая в случайные скучные слова... «Да в дорожной яме, // В дряни, в лоскутах, // Буквы муравьями тлеют на листах...» /Э. Багрицкий./) Все тонет в откровении, вскрывающем вены вселенной. Поэтому все дело в едва уловимой интонации, когда абсолютный слух чувствует, страдая невыносимую фальшь движения и всякое откровение есть прежде всего отречение, отрешенность и отказ от себя, поскольку «я» — превращенная, возвратная форма и единственный способ обрести свободу, отказаться от личности (Я давно заморожено не могу забыть биографию Шеллинга, отнюдь не из желания следовать его доктрине. Ученические представления о якобы семи периодах его философии не годятся даже для нужд пропедевтики. Всю жизнь он писал одну книгу, вернее, жил одной жизнью. И пришел

к откровению, только исчерпав свои возможности, то есть не вследствие старческого маразма, не по причине, нет «причина» здесь не при чем, — по сути безусловной каузальности. То есть откровение не причинено, к нему прийти нельзя, но оно внезапно и вдруг, как случайная свобода, когда видение видит себя. Всецело, целиком, как все. Распахиваются не глаза. Ведь всю жизнь пялился и был слеп, а распахивается бесконечность. Ты видишь все во всем как сущее настоящее, но взамен отымается голос. Абсолютный свет. Музыка как таковая, которая трагична по существу. Это откровение на грани жизни и смерти, когда они замирают на миг, на то самое мгновение, которое открылось тобой в своих чистых и безотносительных сущностях, не связанные временем друг с другом. В этом молчании любая, не только шеллингианская, — любая, того же Герцена, — вся бывшая настоящая, возможная и невозможная философия немеет и выглядит в своих потугах жалко, философия беспомощна, но не жизнь. Жизнь оправдана в своей напрасности и безнадежности, даже когда в сердце безмолвные ледяные поля, и вместо души — ее отсутствие). Явление вопреки и благодаря этой тотальной отрицательности обретает ничто, которое буквально, невероятно. Оно обладает всеми возможностями, все равно какими, кроме одной быть собой, хотя все время остается собой в одной и той же определенности. Все равно идти или оставаться. Один пассаж чего стоит «Обстоятельства заставляют меня, воспользовавшись случаем, сказать о себе, однако я далек от тщеславного самопрославления. Человек, который сделал свое для философии, счел уместным предоставить свободу действий другим и дать им возможность испытать себя, который уйдя со сцены, молчаливо сносил всякий приговор и не нарушал этого молчания даже тогда, когда это давало злоупотреблению и даже историческому извращению исторического развития новой философии, который располагая не какими-то пустыми, а искренне желанными, долгождан-

ными, действительными открытиями подлинной философии, расширяющей сегодняшние границы человеческого сознания, спокойно позволяет говорить «с ним покончено» и который прерывает это полное и всецелое молчание только тогда, когда его призывает к этому несомненный долг; когда ему становится совершенно ясно, что настало время сказать свое решительное слово, — такой человек, милостивые государи, наверное, показал, что он способен на самоотвержение, что он не страдает опрометчивым самомнением и что для него есть нечто важнее мимолетного суждения и скоротечной, легко достижимой славы» [VII]. Это ритуальное самоубийство, человека, исчерпавшие свои возможности, хотя несколькими страницами позже он говорил, что время частных занятий философией прошло, наступает время всеобщности. Скорость и плотность стоп-кадров-книг нарастало с каждым днем и они похожи одна на другую, что вместо универсальности они стали демонстрировать абстрактную унифицированность. И даже в этом анонимном, безымянном движении есть свои прозрения. Это, как утрата дифференциации в искусстве. Искусство синтезируется, происходит по ту сторону движения. Так вначале, предположим в музыке, учишься различать, развивая слух одно произведение от другого, одно исполнение от иного. Вызывает раздражение плохие музыканты, ну и так далее, но потом, остается музыка вообще, когда все равно, кто сочиняет, исполняет — чистое движение и даже при полном отсутствие звука (нет не Кейдж, но подай карандашик ментоловый...), без партитуры, в абсолютном молчании, когда все чувства сливаются в одно, когда как писал Аристотель «страдательное ощущение» уравновешивается, приходит в тождество с впечатлением, а чувства превращаются в одно единое, как различные формы, оттенки одного и того же, чего он уже предположить не мог, хотя явно в этом направлении двигался. Не случайно он говорил, что слух и взгляд разные, но основа у них одна.

Универсальность в основании сущности человека сменяет однозначность абстрактной всеобщности (процесс обоюдный, если посмотреть пристально, хотя от единичности заключиться к всеобщности невозможно и эта невозможность в качестве отсутствующего основания создает видимость частного эстетизма, одалживающего «что» у вывихнутой из времени вещи. Заключенный в бесконечность эгоизм. Нудежь. «Что» — это не то и не это, а и то и это, как не-иное ни-что, по правде ни то и ни это, ни то ни сё). Всеобщность подменяется однозначной общезначимостью, унифицированностью, одиозной, предзаданной идеологически правильной нормой поведения, да еще подмененной долгом и господствующей моралью. Такого душевного однодушия не было в истории никогда. (Трагедия, она, конечно высокая, но козел, как водится душевной... и относится к истории по известному принципу «введи козла, выведи козла» не хочется) Человек всецело овнешнен, вывернут на изнанку и загнан абстрактным отрицанием в собственную индивидуальность (она же инвалидность, рознящаяся по степеням), в протухшую, задохнувшуюся «собственность единственного», в самость единственно возможного, но невозможного действительно. Одиночество не уникально. Глаукома чистого созерцания, когда зрачок высыхает и опорожняется напрочь, уставясь в «обратно». Нечем созерцать и нечего. При всей болтливости в нынешней философии — тягостное молчание. Исполняющие поденную работу, служащие на должностях философов (что-то вроде уборщиков, менеджеров по гигиене) не решаются забастовать (жить то надо). Психологи занимаются бак-посевом, с целью насадить болезнь, чтобы быть «при делах», занимаясь оправданием существующего, дабы заниматься и впредь «лохотроном» (за всю свою уже достаточно долгую жизнь, вынужденно пребывая в этих кругах я не встречал ни одного истово верующего попа и ни одного не знающего, что он гонит халтуру психолога; спрос рождает предложение, но спрос надо под-

держивать, чтобы от этого предложения нельзя было отказаться. А то! Дураков нет!) Философы почти поголовно *опродьюсерелись*. Акцию неповиновения вместо них осуществляет сама философия, отказываясь быть, брезгуя.

При всей убогости современной (язык не поворачивается) «мысли», великий отказ от мышления производит грандиозное впечатление тяжелой огромной, ничего не обещающей безвоздушной тишиной, в которой захлебывается речь, тонет искусство и все сметается безмерной тоской о не бывавшем. Бывшее протухло и дурно пахнет.

Искусство вслед за философией сбрасывает собственные пределы, преодолевая «было» и устремляется в неопределенность, на нейтральные полосы культур, где никакой разницы нет не только между видами искусства, но и между наукой, философией, и. т. д. Разница — уже самоцель. Поскольку в этой единственности, в тотальном одиночестве все равно, как «все едино».

Однако это не преодоление, а отступление в ненаглядную наглядную конкретность пройденного или, что то же самое, в абстракцию существования, безуспешная попытка втиснуться в утраченное «очарование бытия», в его уникальную неповторимость. То есть, задача сделать его повторяемым и воспроизводимым, не смотря ни на что. Да и смотреть то не на что. Обрести безусловное, как самодостаточность. Отсюда подспудное и навязчивое желание вычленив квинтэссенцию того же искусства или философии в «чистом» виде. При этом «чистоту» видят в промышленной «дистилляции», возгонке истории философии и искусства в некую самостоятельную сущность, ошибочно полагая, что полученный самогон, чача, граппа есть абсолютная чистая сущность вина. Стоимость еще не *Все*. Превращенная форма действительно становится абсолютной. Свою роль сивухи такой заменитель философии, искусства и прочих «проявлений духа», превращенных в чистую идеологию выполняет отменно,

напрочь отшибая способность и фантазии, и воображения, и вообще элементарной рефлексии, оставляемых за «ненадобностью». Впору вроде знаменитого Иван Григорьевича Прыжова писать «История кабаков в России в связи с историей русского народа», но если о философии то лучше «Нищие и святая Русь». Надо ли напоминать, что по древнегреческому обычаю большой грех лить вино в воду, надо бы воду разбавлять вином. А нынче чистая вода и то благо. Так что будем лить воду.

Вся продуктивная способность воображения направлена на то, чтобы не воображать вовсе. Здесь нет даже воображаемой свободы, красоты, чувств. Великий отказ от действительного, возможного и невозможного разом. Шантаж философии и философией. Обещанием не быть. Не трансцендирование, не переход — транскреации в духе Лейбница. Нужда в пределе, где предел как предел (передел) желаний, балансирование в ожидании хоть чего ни будь с искусственным пессимизмом, сбываемом выгодно по сходной цене. Искусство, да и философия — что-то вроде «нужника на Рубиконе» (Пятигорский) и как заметила одна остроумная студентка даже без окошечка-сердечка. Как бы ни стремилось современное искусство к себе, как бы не бежало утилитарности, оно насковзь утилитарно, продажно, скупердяйно и приравнивается ко времени и становится временным по сути, так же как философия превратилась в абсолютную идеологию, ввиду отсутствия идеи и тем перестала быть вовсе.

Само искусство и философия ограничиваются утверждением бесспорных истин, защищая существующее положение вещей, и даже простым отрицанием, делает отрицаемое значительным, признавая этим право на существование того, что уже давно не существует. В этом и проявляется *фронезис*, на который смутно уповаает философия, намекая на еще не утраченную практическую сметку, рассудочность, проникновенность и некое мифическое совершенство, которое, правда, может иметь смысл

не интеллектуальной мудрости, но дыхания мысли о том, что никогда не сбывается. Именно потому «фронезис» в любом своем туманном и неопределенном, но многочисленном значении, от Гомера, Протагора, Платона, Аристотеля и дальше не имеет множественного числа. Он один-единственный, осторожный и осмотрительный в отличие от философии. Она едва ли не впервые столкнулась с собственной невозможностью и обреченность. Устала от самой себя. Единственное ее достояние, там, где она есть, лицезреть истину. Не только созерцать, но и командовать собственным расстрелом, отказавшись от повязки на глазах. Эстетика, по аналогии, заключается в том, чтобы попросить в последнем желании по-латиноамерикански сигару из черного табака и позвать «марьячос» сыграть банальнейшую хабанеру «Голубку» Иридье, которая с этих пор приобретет необходимый трагизм, дающий бессмертие. Здесь проходит в мгновении вся печальная история философии, но как факт биографии каждого, хотя бы потому, что мое знание приобретено ценой жизни и несоразмерных усилий. С искусством та же картина: грандиозные усилия при мизерности и даже убогости воплощения, впрочем и нищете восприятия, которое вывернуто наизнанку и в своей отрицательности уже сплошное неприятие в равнодушной всеядности. Ну не стоят достижения эти человеческих жизней, хотя к стоимости и не имеют никакого отношения. Вообще эти покушения на самость истины, попытка ее дрессуры оскорбительна. Современное только потому, что оно есть и наглет, еще не означает истинное, так же как существующее — еще не современное, хотя и может соответствовать, буквально следовать точному определению И. Кантом суждению вкуса — «надо лишь доказать для способности суждения вообще общезначимость *единичного суждения*, которое может выражать субъективную целесообразность эмпирического представления о форме предмета» даже не ссылаюсь, только с одной стороны производят то уже не предмет, а имен-

но это единичное суждение как общезначимое и главное, его общеобязательность доказывают насильно и средствами вполне эмпирическими и не соразмерными.

В эпоху так называемых переходных периодов, когда происходит перерыв постепенности, пусть он даже длится века, — любая форма случайна и отпадает от чистой сущности движения, обособливаясь как прошлая. Отработанная отпавшая ипостась времени. Конечно никакого «высшего» и «низшего» в бесконечности и вечности нет. Любое время относительно в своей последовательности, непоследовательности и одновременности, как формы ничто. Однако, в случае если некая отработанная или просто превращенная форма (хотя все формы, коль скоро они формы являются превращенными, возвращаясь на круги своя в бесконечном самовоспроизведении) тона становится возвратная форма, то есть та, которая не может снять свою определенность и уйти в основание, как разрешение потенциальной и актуальной бесконечности. Она вступает в антагонизм, мало того, что внешне определенный, но еще и случайный. Все против всех. Времена, любые, не только прошлое настоящее и будущее, но все, замыкаются отсутствием связей. Их противоречия случайны, произвольны, слепы. Внешние и внутренние границы дробятся до бесконечности, смешиваясь, и тщетно пытаюсь восстановить порядок хаоса. Причем тщетность как самоцель. Отражение отделяется от отражаемого и отражающего с отражающимся. Возвратная форма не может сняться и исчезнуть, она бессмертна как раковая клетка, не может измениться и умереть. Это негация как таковая, без второго отрицания (хотя, когда говорят о законе «отрицания отрицания» мало кто осознает, что нет никаких двух отрицаний, что отрицание — это процесс и так называемое «первое отрицание» оно же и второе, как «не-иное», как то же самое отрицание, своей определенностью, как некое нечто снимающее себя. Огрубляя, когда снятие все же происходит, как некое восходящее развитие,

то свобода являясь снятой необходимостью в предметном выражении как разрешение противоречия пространства и времени в свободном времени стремиться уйти в основание преодолеть и свободу и время, превратившись из инобытия в простое качество, в атрибут и предикат человеческой жизни. Но при этом оставляя некий иррациональный остаток развития (реализовывая, создавая и делая действительностью одну возможность отрицается бесконечность минус один возможностей, которые ведь тоже отказываются от нас. Об этом когда-то писал Игорь Ильин, столь любимый Мих. Лифшицем. Кроме того, нет трех законов диалектики — это единый закон даже не в трех ипостасях. Отрицание отрицания, оно же и есть единство борьбы противоположностей, и переход количества в качество, кстати, и никаких обратно, что ясно видимо только прошедшим школу В. А. Босенко, хотя это элементарно. Все это единое всеобщее развитие, впрочем всеобщность его относительна, до тех пор, пока развивается. Законы диалектики в свитии не «работают», да и простой здравый смысл становится абсурдным). Эта нисходящая ветвь ниспадает в произволе распада к случайной свободе, смысла которой в неутоленной жажде небытия, в стремлении к последней единичности, которой она не достигает. Здесь властвует уже не «бытие-возможность», а невозможность, и что парадоксально, невозможность небытия. Это свертывающее, скукоживающееся пространство имеет ряд странных особенностей. Если в восходящей ветви (условно будем так это называть) стремление к исчезновению свободы, времени, вообще всех форм в едином и в основании предполагает трагедию и чистую эстетику, вне всякого заранее положенного масштаба и условий. Причинно-следственные исчезают и чувства развиваются в единое, что не обособляется в самодроблении на все ведомые формы развития, то в «ниходящей» напротив, происходит перевертывание, когда ни *актуальной*, ни *потенциальной бесконечности* (не двух бесконечностей, а одной



единой) не достигается ввиду отсутствия прагматического интереса, происходит отказ от необходимости и свободы, — достаточно одной внешней необходимости. Роль которой с точки зрения индивида выполняет случайность, так ему кажется, но объективно это диктат обстоятельств. Человек усреднен. Здесь уже не универсальность его сущности, но ролевая функция явления, унифицированная обществом потреблением. В первом разе — трансцендентальная эстетика решает последнее противоречие диалектики, наконец выполняющей свое обещание умереть, поскольку «все, что возникает заслуживает гибели», «бессмертна одна смерть», то есть проблемы истины добра и красоты, пространства и времени, и вообще всего сущего сводятся к грандиозной битве между красотой и прекрасным. Во втором случае, если развития не доразвилось до развития развития, на лицо даже не комедия, а непристойный балаган не менее трансцендентальной психологии, тщетно пытающейся систематизировать случайности как «коммуникации» и типологизировать трупы, оставившие позади себя тенденцию. (Сложность невероятное в том, что если развитие искусственно прервано, то не то страшно, что наступает всеобщее одичание и гниет тело культуры и цивилизации, но иррациональным становится то, что не сбылось, само порожденное свободное время, то пространство сколько осталось до абсолютного в своем роде воплощения. Образ, любой становится безобразным и не в том, смысле о котором говорил А. С. Канарский, а в агрессивном, покушающемся на красоту как таковую, уничтожающего способность к развитию на корню. Разгрести это с ученым видом врагу не пожелаю. Задача столь же бесконечная, сколь тупая. Еще юный Шеллинг говорил, что когда необходимость проявляется в качестве объекта, а свобода в качестве субъекта то это трагедия, если же свобода или различие является объектом, а необходимость или тождество субъектом, то это переворачивание строго необходимого отношения является зако-

ном комедии. Единственный вопрос, почему же так не смешно. Не хватает не только дыхания, но даже злости.)

Правда, стоит помнить, что во времена Шеллинга и вообще немецкой классики необходимость соответствовала природе, а свобода была «свободой от», поэтому свобода могла выступать как судьба. (Или причиной, условием и способом бытия, но потом, после времени.) Когда же свобода становится необходимостью, а необходимость случайной или свободной, то они вполне могут терять определенность. Даже если случайную свободу рассматривать как великий отказ от свободы, как торжество произвола, то и тогда необходимо, чтобы свобода была, а то от чего же отказываться? Отречение же от необходимости сколь «не верни пикку» свободы не прибавит. «Век воли не видать».

В большинстве случаев страх перед свободой как Судьбой, Роком, Фатумом зачастую принимают за действительность самой свободы, настоящей свободы, которая не сводится к праву, собственности и тотальному террору самой свободы, буде она обретет реальность и даже тотальность.

Восходящая трансцендентальная эстетика и не менее интенсивно нисходящая трансцендентальная психология, уже превратившаяся в какую-то психопатологию, или попросту в психопатию, психопатогонию, психопатотеогонию, производящую промышленным способом навязчивые галлюцинации (до идей не подняться они не успевают образовываться, здесь довольствуются либо произвольными отходами производства либо узаконенными штампами), как ни странно не два, а один предел, являющий одну реторту, тигель, где выращивается что-то человекообразное, гомункулусов, геккубов и суккубов в бульоне кипящих времен. Здесь и по крайней мере сейчас решается проблема времени в его высшей (она же низшая) точке. «Эта высшая точка находится, следовательно, там, где вскрывается общая противоположность свободы и необходимости, притом так,

что необходимость попадает в субъект, а свобода — в объект», — пишет Шеллинг, хотя речь по существу идет о том, чтобы снять субъектно-объектные отношения и уничтожить саморазрушительность земной основы, и дальше: «Несомненно, поскольку необходимость по своей природе объективна, постольку необходимость в субъекте может лишь претендовать на объективность, может быть лишь заимствованной и лишь притворной абсолютностью, которую посрамляет необходимость в образе внешнего различия. Как, с одной стороны, свобода и особенное притворяются необходимостью и общностью, так, с другой стороны, необходимость принимает видимость свободы и уничтожает мнимую закономерность маскируясь отсутствием закономерности, по существу не действуя с необходимой последовательностью. *Необходимо*, чтобы особенное уничтожалось там, где оно, желая стать необходимостью, облекается в закон объективности; *поскольку* в комедии получает свое выражение высшая судьба. И таким образом комедия превращается в высшую трагедию; однако судьба проявляется именно потому, что она сама облекается в природу, противоположную своей, проявляется как бодрящая облик, только как ирония, но не как рок необходимости» [VIII].

Это частично объясняет, а может и слабо оправдывает невольное тяготение к романтизму на всякий случай, с присущим ему жестокостью и слезливой сентиментальностью, сдобренному усиленно культивируемой обязательной иронией. Как знать. Наглядность, которая видится во всем, вплоть до примитивизации и упрощения донельзя, все же не интеллигибельное созерцание, не говоря уже о деятельности. Она не очевидна. Это прежде всего наглядность претензии, субъективная абсолютность не имеющая ни оснований, оправданной произволом выдаваемым за свободу, что особенно как устойчивый запах преследует современное не скажу искусство вообще интеллектуальное пространство, пытающееся застигнуть врасплох,

подменив своей затхлой спертой атмосферой жизнь, которая прочем тоже протухла. Если бы это был только комедия, то она не имея истории, создавала бы свою мифологию и свою трагедию в эпическом размахе, когда нет деления на жанры, нет ни комедии. Ни трагедии. Ни драмы, но ныне приходится довольствоваться пародией на... на что? На жизнь? На бытие? Имитация имитации. Комедия не смешна. Трагедия не трагична. Жизнь безжизненна. Искусство бесстрастно. Зато пристрастна смерть. Читать это просто скучно, писать еще скучнее. Общее слабоумие эпохи делает невозможным любое проявление человеческих чувств, удушенных обладанием и присвоением. А те чувства, которые по недосмотру остались, оборачиваются против человека, беззащитного перед ним. И не только потому, что они в этом находят свое жизненное пространство, питаются кровью и похищая дыхание. Их унижающая сила не в том, что они ниоткуда и ни к чему, а в том, что они как сущностные силы, вместе с волей хотят умереть, уничтожив чувствующего, как единственного, кто чувствует. От них нельзя отказаться, невозможно, поскольку они не внешним образом, не отгрызешь как конечность, опавшую в капкан. Ведь чувства уже превратились в нечто единое, по крайней мере, здесь не в органах чувств суть, а в том, что органами чувств стали сами чувства. Чувствуют и слышат уже не музыку, а музыкой, не философию, а философией, не живопись, а живописью и чувствуют и видят, осязают не нервными окончаниями, не всей кожей, а всем существом. Что делать человеку в тусклом мире, где *tutti quanti* цветы рассматривают как «половые органы растений», мед не нектаром, а сорок раз отрыгнутой и потребленной пчелой дрянью, «влюбленное в нас вино» — воспринимают как экскременты бактерий, музыка представляется длиной волны и подменяется математическим аппаратом в лучшем случае, а любовь, «целый мир в глазах моей любимой был / И вот внезапно расплескался. / Мир вовне, он больше необъятен...»

объясняется деятельностью желез внутренней секреции или «основным инстинктом», где любят за хорошие анализы или делают любовь за деньги, да и чувства сводятся к реакции раздражителю, теории рефлексов, возбуждению/торможению (да еще понятого современными вьюношами в духе рекламы «Не тормози! Сникерсни!») чего не позволяла себе уже собака академика Павлова. (У которой, впрочем, научились пускать слюни при виде кормушки.) Когда читаешь современных литераторов, слышишь их речи или откровения любых иных душеведов и душелюбов, независимо представители ли духовенства или художественной богемы, поражаешься убогости мышления, если такое можно оным назвать. (Правда и прежде на метров находил псих, позволявший, например, Салтыкову-Щедрину и Льву Николаевичу Толстому, не к ночи буде помянут, который не стеснялся приписывать себе сомнительные мысли первого, пренебрежительно отзываться о поэзии, дескать, что за странная блажь ходить по веревке строк, прихрамывая на каждом слоге, приседая на рифме). И составлять черные списки, произведений, подлежащих уничтожению. Не без того. И не думаю, что только для эпатажа, али красного словца. Что и говорить, грубый был мужик. Да и вообще, посмотришь с холодным вниманьем вокруг... На ту же историю и холодным потом покроешься. Однако, одно дело тотальное невежество, потому, что иначе и быть не могло, а другое не менее тотальное, возведенное в абсолют, когда не только может, но и должно быть иначе, и самое интересное, что уже было. Когда сознательно отказываются от Истины, Добра и Красоты и от имени истины требуют высшей меры [4].

Особенно страшно, когда понимаешь, что это общее скудоумие носит необходимый, непреложный и репрессивный характер и ты сам, несмотря на все сопротивление, обречен. Не будет великих, захватывающих идей, не возможны гениальные произведения, несмотря на все усилия. «Жил я в безумное время и общей

судьбы не избегнул, стал неразумным и сам, как повелело оно». В этом весь не ужас времени. И он не в том, что болтаемся мы в бездне, а где-то в каких-нибудь полутора миллиардах световых лет сталкиваются галактики, а в миллионе световых лет звезда пожирает планету, да и черные дыры пошаливают. Страшна обыденность происходящего самоуничтожения. Конечно, можно успокаивать себя байками в стиле какого-нибудь Севы Новгородцева, запуская «дезу», а вот был еще случай, нашли переписку на глиняных табличках клинописью, где два ученых халдея друг другу жалуются на упадок нравов и что нынешняя молодежь клинопись не знает. Безграмотна поголовно, а пишет на тарабарском «древнегреческом» языке некрасивыми закорючками. И делать вывод, что так было всегда, радуйтесь, что за ересь — на кол не сажают, не сжигают и никому до вас дела нет. Так что мы живем в лучшем из миров.

Когда-то Брехт сказал: «Современные художники расписывают своими натюрмортами переборки тонущих кораблей», очертив известный драматизм эпохи. Нынешние художники и философы расписывают стены станционных сортиров, в ожидании поезда, который никогда не придет. И это возведено в норму. Без подлости и предательства нет интриги. «Пакт с низостью» (Адорно) против человеческого, заключенный искусством и философией, которая давно уже «мистагогия», закончился разделом мира на кладбищенские участки, где мертвым хоронить своих мертвецов, но живьем, призванных «объяснять философов», препарировав чувство в «эстетическом опыте» тления, растления даже тупой вещи и ощущения, коль скоро с чувствами покончено к вящей радости избавленного от необходимости чувствовать случайного обывателя. Философия упразднена, как и просто мышление и здравый смысл, достаточно просто ее «ускоренных технологий», да и то направленных на уничтожение оной.

Дух сводится (своится, прививается) к издержкам производства, заполняя лакуны и каверны

непосредственной практики, всецело отдален в «нетость». Он не только «не то, что...» Он — «даже если бы»... И Дух не воодушевлен, он вообще не одушевлен, всем своим существом подчеркивая, что при желании можно обойтись и без него, потому что он превышает потребность в необходимом, сиюминутном, нужном. Он не по нужде. Он не свободен — случаен. Можно ли высказать истину о неистинном? Если очень хочется. Этим и живет. «Сейчас не хотят правды, хотят аплодисментов», и они звучат. По команде устроителей шоу.

Дух не переживает, потому что не пережил собственную принудительную бездуховность или что то же самое декларируемую, должную духовитую духовность. В *дохучете*, с двойной, итальянской бухгалтерией. Дебет-кредит. На место Духа пришло его отсутствие, которое более действительно, чем он сам. Определенное ничто, как овеществленная бесконечность. Поэтому пустопорожняя болтовня имеет историческое оправдание и является необходимой. В том, чтобы быть ни о чем — предназначение и смысл и даже апология современного щебетания, по привычке, считающегося философией, настольной книгой которой должен быть шедевр: «Бальзамирование и реставрация трупов: Руководство» [X].

А между тем, *даже если бы* все было иначе, то одной из загадочных проблем является «неоднородность развития», которая наблюдается не только в случае разрешения в свободе, «после того, когда она стала непосредственным основанием и пространством человеческого развития», но и в непосредственном нынешнем случайном, попятном «свитии», когда невозможная свобода подменяется автономией, где отсутствие свободы, автократично. («Бюрократия свободы», какое название для книги! Не надо суетиться, Гегель ее уже написал, только называется она «Философия права».) Как уже говорилось. Восходящая ветвь разрешается в трансцендентальной эстетике, снимая противоречие прекрасного и чувства. Нисходящая подышает

в не менее трансцендентальной психологии, как тот же процесс, распадаясь на частные эстетики, смехотворные, вроде «эстетики ногтей», эстетики «парикмахерского дела», «эстетики кухонь», «эстетики философии» (бува й таке), все — «найденные объекты». Все из так называемой жизни. И в том и в другом разе, мы знаем вечность не с начала. И речь идет не о жизни и смерти, а о «Flammentod» (Стефан Георге). В нынешнем даже смерть опошлена. Пошлость и хамство, ну еще холуйство — три координаты эпохи. Генрих Густавович Нейгауз, отвечая на вопрос учеников «что такое пошлость?», сказал: «Пошлость нечто вроде религии, только гораздо сильнее». По сути, речь идет о том, чтобы избавиться от пошлости любой ценой, даже ценой собственной жизни. Такая малость. «Поэтому совершенно безразлично, что предпримет само по себе сознание», если оно достигла предела, утратив человечески-чувственную деятельность, даже не приходя в себя. И нечего причитать, как в американских сериалах про лекарей: «Мы теряем, ее теряем...», когда потеряли себя. И самое смешное, что это не трагедия. Как писал не любимый мною И. Губерман в своих сортирных виршах:

К нам хлынуло мутной волной  
обилие планов и мыслей  
тюрьма остается тюрьмой,  
но стало сидеть живописней.

Это пожизненное.

1. Обычно я не люблю повторяться. Возможно, некоторые пассажи могут показаться странно знакомыми, уже виденными. Сделано это сознательно, хотя я мог бы и промолчать, «тактично не заметив» самоцитирования. Вызван такой ход любопытством, как поведет та или иная идея (слишком сильно сказано), просто фрагмент, написанный по другому поводу и с другим чувством в агрессивной среде. Так что не корысти ради, а токмо... Это своего рода модель раскавыченного, лишённого условности прошлого, сплошь символического. Так что повтор не от бедности — от избытка. Авторская копия — свидетельство, что сказанное/сделанное не случайно, и ты можешь это воспроизвести/доказать, не прибегая к плагиату у самого себя. Плагиат, называя его хоть пост-модерном, есть плагиат, однако в отношении идеи он невозможен, только по форме. Не буду говорить о Вильяме нашем Шекспире или любимым мною Бахе, который запросто обносил Вивальди и прочих, главное — искусство фуги. Михаэль Гайдн тоже был источником вдохновения для Моцарта, так что 37 симфония заимствована с восторгом целиком, и «Реквием» во многом, да и язык мы не сочиняем, а пользуемся «полуфабрикатом», как его возможность. Красоту идеи надо почувствовать, а она переживается и становится тобой, не своей, когда ты ее не можешь пережить. не превратившись в нее неповторимо, неповторно в непосредственном действии. Идея «вновь и вновь», а не «старо как мир», будто чувство — всегда и никогда. Случилось как-то писать предисловие к книге воспоминаний-рассказов, созданных «для близких и о близких» Инны Смирновой «Домашний Альбом» (Макаров, 2010). Сразу скажу, что никогда не пишу «на заказ». Я с автором даже не знаком (правда, это я могу сказать и про себя, что не знаком с собой, не представлен, видите ли). И вот, что поразило — чистота интонации и голоса, которой нет ни у кого, живущего за счет литературы. Конечно, это не впервые, встречал и раньше. И это больше, чем литература. Это жизнь. Не от бедности я повторяюсь, обошелся бы и без этого, написал бы другое, не по сусекам подбираюсь, выскребая последнее на колобок. Здесь другое: Воспоминание воспоминания. Повторение на память, запоминание, зазубривание, когда мучительно пытаешься передать оттенки, повториться еще раз и не можешь, даже, если копируешь свое кровное, но уже написанное. И давно не ощущаемое чувство неуверенности, риска. Здесь ведь не мемуары кропают, не стряпают из мощей прошлого нечто удобоваримое для политики, а возвращают небывавшее еще, с трудом узнаваемое давно ожидаемое чувство, что-то прикрываемое (как спичку на ветру, свечку) от холодного ветра, и во вселенной все сосредоточенно на этом свете, а не на том, сквозь ладони и на лице, светящемся в ледящем мраке. Вот эта неповторимость повтора и ошеломляет. Нетиражированность. Детонируешь, взрываешься от одной строчки, не потому, что хорошо написано, а просто написано. А цитаты, они как листы накладной брони, навешанной для защиты от кумулятивных снарядов, начиненных очень обедненной мыслью. Можно было бы и без них. Сверхзадача — забыть себя как смутную цитату своих произведений, которые тебя то и припоминают, с трудом, и перенести весь центр тяжести и ответственность на других, ни к чему не обязывающей ассоциацией. Пригрезилось. Зная, что все напрасно, но прикрываясь словами других, дескать, не может быть, чтобы это все зря. Ведь все это трагичная чужая жизнь. Неужто напрасно? Кроме того, я уверен, что с появлением такого универсального инструмента как Интернет, при определенных условиях человеку остается только чистая мысль, которая

ничего не сообщает, свободная импровизация, сродни музыке, уже не нуждающаяся в «защитительных словах», пусть даже это и Слово Божие, выживающее из ума: «Ибо, так как наша природа подвержена смерти и легко разрушима, то поэтому и слово наше — безлично. Бог же, всегда существующий и существующий совершенным, будет иметь и совершенное и ипостасное Свое Слово, и всегда существующее, и живое, и имеющее все...» [1] Ну, Бог для меня — просто метафора, даже не оригинальная, однако все остальное... А главное, текст как либретто в опере, особенно новой опере не играет никакой существенной роли, а если и артикулирует, то только в проходных вставных номерах. «Воццек» не о Воццекке. И у Бюхнера не о Войцекке. «Гамлета» Слонимского никто не помнит, а ведь какие страсти были. А пастернаковского помнят, но не попад. «Песни об умерших детях» Малера не о детях, и тесты не при чем, достаточно названия. Все не о том. Все к счастью, не о том. С тем же успехом можно идти другим путем, и цитировать, вызывать духов совершенно других авторов, в надежде что их авторитет поспособствует увеличению площади парусов, а не листажа, бродяжничая, как «Пьяный Корабль» Рембо, пользуясь течениями пытающейся быть тайной случайной свободой, которая свободна от бедности, когда идею влечет не желание быть, а желания не быть вовсе. В любом направлении нет ни тенденции, ни интенции на которую некоторые так уповали, но есть *Imitatio Dei* подражание Богу, но таким образом, что отсутствие бога делает достоверным само движение, не свобода, но и не-свобода — произвольность. Подобие без первообраза. Нет, здесь бог просто метафора, а речь идет о музыке в себе без метафизики, без идеологии в ее действительности, где она не только идея, — гармония без полифонии. Противоречие между невыразимым и невыразительностью, ничтожностью и уничтожением, казалось бы не оставляет не только выбора, но и возможности вернуться к истокам, однако именно это является оправданием современности, случайная свобода, не имеющая причины, чтобы быть, наступает вдруг, сразу, как сердечный приступ, как замирание, умирание, но не замирение с бесконечностью, являющей всю ничтожность (*Nichtigkeit*) неуничтожимой вечности. Но именно этот порыв совпадает со знаменитым *Zu Grunde gehen* — на старонемецком — гибнуть идти ко дну, исчезнуть; буквально — идти к основанию, столь усиленно, почти благоговейно, как формулу заклинания повторяемое от Немецких мистиков, до Немецких классиков и то, что, например Ф. Энгельс в письме к Конраду Шмидту от 1 ноября 1891 года писал, что это просто острота, в которой положительное и отрицательное гибнут, чтобы Гегель мог перейти к категории основания, суть дела не меняет. Кстати тот же Энгельс, совершенно точно заметил, что переход от категории к категории в гегелевской философии случаен, только по простоте ли душевной, или по иной причине решил, что сие неприемлемо. Напротив, старая мистика, получила вполне реальное и, к сожалению, проигнорированное понимание/продолжение в вскользь брошенном Лейбницем замечании о транскреациях, когда нечто, исчезая в одном отношении, возникает без ущерба и всецело в другом, без причин, но это уже другая история, хотя к слову сказать этим объясняется как возможны множественные, бесчисленные «субстанции», если *безусловно* может быть и есть только одна. Переход, и становление не схватывается представлением и постигается только в самодвижении, да и то не как самоцель. Это не интересно, однако саморазрушающееся время, разрушает и дискретность и связность, и дискретность дискретности, создавая условия, когда антиномии

превращаясь в антагонизм и тоже доводятся до разрешения. Разрушенная пустота, которая самая невидимая и невидная вызревает в зримое, но именно она сохраняет тайну и акустическое пространство, которое только может быть, но оставляет надежду, для берущей на голос современности: «а вдруг?!»

**Добавление к примечанию.** В отместку за небрежение прошлым мертвое его время начинает шантажировать настоящее, поскольку отрицание обоюдное, в обе стороны, — которые и создает. Можно только представить, чем чревата эта взаимная ненависть. Но это все же лучше, чем безразличие и равнодушие.

В условиях, когда настоящее охвачено сознательным порывом к низменному (под видом упрощения и омассовления), все возвышенное унижается, по крайней мере, его хотят видеть оплеванным и униженным, но остается недостижимым. Только здесь, в точке распада (множественность распада мнима), он унифицирован.

Все становится злом без альтернативы. (Никакой диалектики Добра и Зла не было и быть не могло — это кажущееся противоречие, но за эту иллюзию, прикрываясь этикой, слишком дорого заплатили; заплатили, чтобы иллюзия обрела реальную власть, впрочем, этика догадывает остатки самой себя.) И, озяв, сущностные силы человека начинают его уничтожать где только можно. Искусство, сбросив маскарадные одежды свободы, покушается на человеческую жизнь, чтобы быть вместо нее.

Если отбросить ветхие словеса, то современная наука, философия и особенно искусство, все без исключения есть ее воплощения: массовое, элитарное, аристократичное, плебейское носят репрессивный характер, выполняя роль заплочных дел мастеров, и если бы по принуждению, а то добровольно, за имущество казнимых чувств человека. Искусство в этом премного преуспело.

Причем, это тот случай, когда все ясно, и ошибиться невозможно. То, что искусство, наука и философия подчинены определенной идеологии, очевидно. Его якобы протестный характер — фикция. Так, отражение противоположно, где правое — там левое, но если фашизм смотрится в зеркало, его отражение вовсе не становится автоматически антифашизмом. То, что сейчас и под видом фальшивого негодования и под видом поучения, а то и в открытую идет реабилитация, мифологизация и реставрация фашизма, в этом нет сомнения. Фашизм — сущность идеологии мелкого лавочника, семенная вытяжка из среднего класса, его абсолютизированная серединность и серость, которая требует искусство под стать себе и создает, и оплачивает услуги, и пользуется. Фашизм не страшен. Он пошл и сер до тошноты — вот в чем мерзость. И все делает собой, проникая, как грибок, как плесень, превращая в себя даже великие достижения человеческого духа.

Современное искусство требует нечеловеческих усилий, но и само становится сверхчеловеческим или недо... — в любом случае бесчеловечным. Оно больше не делается — искусство выделяется. Сохраняя интенции к индивидуальности и приходя к индивидуности как эквиваленту уникальности, искусство превращается в идеологию унифицированной толпы, уничтожая личность. Манифестация античеловеческого превращается в самоцель — вот подлинная подоплека лозунга «искусство для искусства» (а «ацидофильное молоко — для ацидофилов?»).

Искусство пытается сохранить невинность, стараясь быть только «правдивым отражением», и при всей своей беспомощной виртуозной и уже и виртуальной

изошрненности (так ему кажется), технологической вооруженности оно беспомощно, неуклаже и по большей части — в массе — слабоумно.

Попытка изобразить некую бессознательную хтоничность, архаичность, к которым якобы стремится искусство, как к истокам незамутненности, первозданности... и т. д. и т. п., — это колыбельная для наивного потребителя, которому впаривают вполне промышленную продукцию, да собственно и не произведение, а как принято теперь скромно говорить, «объект», будто бы стихийно возникший, — эта попытка не скрывает предполагаемой безмозглости как у «творцов» (а в сущности — люмпенизированных рабочих по найму нового порядка), так и потребителей.

Немассового искусства больше нет. И оно сплошь состоит из отходов «цивилизации». Но при этом искусство, если оно действительно только отражение, то такое мощное, что манипулирует тем, что отражает. А если оно только зеркало, то, будучи разнесено на мелкие осколки, как осколочная граната, шариковые бомбы, своими даже не существующими не поражающими, ожидаемыми, но так и не появившимися осколками предметности, даже не пораженным пространством, убивают насмерть, но не сразу, а медленно. Пустота расширяется агрессивно, и растет, свертывая пространство в безысходность. Поскольку и те немногие не продавшиеся и совершенно честно и ценой жизни создающие шедевры из ничего (во что слабо верится), но все же, эти шедевры действуют убийственней, чем попса, против которой еще есть защита, броня. Иммунитет против пошлости возможен, но против истинной любви нет никакой защиты. Единственная радость, что чудовище «истинная любовь» давно вымерло и заменено какой-то механически-гормональной синтетической ерундой.

Можно возразить, дескать, это частный случай. Да, это частный случай, который вполне легальным и узаконенным образом стал общеобязательным, повинностью, не обсуждаемой и беспрекословно выполняемой. Поэтому любое возмущение, простая деривация, отклонение от «нормы», от шаблона и навязанной индивидуности, унифицированности карается остракизмом.

Собственно, то, что и есть искусство, оказывается не просто вне закона, а вне жизни. Его нечем чувствовать. Это делают за него, вместо него рекламой, прочитанной как неприличный жест. Современное искусство не из серийного ряда вон. Оно обыденно. Пустота — это не просто отсутствие — в этом случае она породила бы раннюю нужду, нищету времени, эта другая — пустота самой пустоты (а власть — всегда «императив тавтологии» и «отвратительна, как руки брадобрея») она необратима и активна, поскольку порождена изгнанием. Пустопорожнеть как таковая. И несть ей конца!

И никакой «мистерии зла», — бессмысленное кишение форм. Собственно искусства больше нет в сущности. Это не поклон в сторону столь любимого Зедльмайром Виктора Обюртена, но в попытке самому создавать сущности, быть не явлением, а создателем; оно уничтожило свое существование, потому что природа порождающая не имеет сущности, она происходит только по существованию, в отличие от природы сотворяемой, которая творение производит по сущности и существованию вместе, то есть универсально. Тем рознятся творение и порождение, о чем знал уже Спиноза и никто его не опроверг. Эту способность воображения выжгло в себе современное искусство, перестав быть таковым и превратившись в порождение вырождения. «Усталость от усталости» (Питер Хакс) — вот чем страдает современность, и только



это отделяет ее от тотальной войны всех против всех. Война на уничтожение носит частный, локальный, точечный характер.

Поэтому вот уже сто лет сплошь и рядом звучащие призывы, что надо бы все это, это «оно», поскольку оно уже не искусство, назвать по-другому, наивны до безобразия. Дело не в названии. Как ни назови. Хоть контемпорарностью, хоть сверх-авангардом, хоть...!

2. Кроме того, одна из проблем нынешних служащих пера, давящих на «клаву» и шлепающих опусы в несметном количестве, вытягиваясь в длину, заключается не в том, чтобы написать просто о сложном, но наоборот, сложно о простом, потому что куда уж проще простого наше время, — все однозначно и не имеет ни символического, ни просто никакого значения. Эта обертка, упаковка производится другим предприятием. Да и о чем писать? Вот только что с упоением и восторженными заштатными и столичными «СМИ» взорвались сообщением, что наконец-то нашли кости Микеланджело Меризи, известного как Караваджо. «Сейчас они выставлены на всеобщее обозрение в Равенне!» «Караваджо погубили сифилис и малярия!» Вопрос, зачем ворошить могилы? Это, говоря современным языком не вопрос, чтобы не сказать грубее. И вот уже умные дяди и тети, которые в глаза не видели его произведений, начинают глубокомысленно рассуждать, как важно, что нашли кости и выставили, это заставит многих и многих задуматься и потянуться к великому гению. Это спишем на издержки профессии. «Четвертая власть», она же «шестая» — власть подневольная. Такая себе невинная жизнь по наущению, аки голуби, эти «летающие крысы городов» (Рембо) гадят, разносят орнитоз и болеют птичьим гриппом. Но ведь и в элитарной, я не касаюсь расхожей, брезгую, даже там такое впечатление, что играют во взрослой песочнице, дипломированные мужи и мужихи, лепя бабки и куличи, но особенно «бабки» из пепла добытого в крематории истории, и это отнюдь не «Диалог на пепле» Джордано Бруно. И этот пепел не стучит в сердце, ввиду отсутствия такового. (А еще его можно использовать вместо песка в песочных часах, или рисовать на экране вместо вулканического, на удобрения тоже хорошо, как американцы, которые в двадцатых годах использовали египетские мумии именно для этой цели. Да мало ли, чего добру пропадать...)

3. Такое не передашь, да и не предашь, когда я, в том возрасте, когда положено увлекаться Н. Гумилевым, прочитав, «О пожелтевшие листья, в тиши вечерних библиотек, где краски... что-то там... чисты. И пыль пынее, чем наркотик...». В старом в потрескавшейся коже фолианте «Единобеседовании души с Богом...» Августина Блаженного, издания чуть ли не 17-го какого-то года, сидя в библиотеке Лавры обнаружил цветок, выгоревший от времени, но аккуратно переложенный корпией. И долго с восторгом сидел в оцепенении, а потом аккуратно положил его на место между 122 и 123 страницами. Какое же это было издание? Потом я часто находил такие штуки в старых книгах, — по закону жанра я должен сказать, «но больше никогда»... или «но всегда помнил», нет ничего подобного — но всегда это ощущение, сходное с благоговейным удивлением, даже сейчас возникает при чтении самозабвенных и честных книг, которые теперь хотят отнять у меня вместе с памятью. Могут сказать: «Это старость, хватит маньячить старый пень. Кому ты нужен». Да, это старость, но не моя, а которой заражаются от нынешнего времени. Оно — плесень, грибок, убивающий и книги, и картины, и мысли, и души. И это как шашель, грибок и плесень надо вымораживать. Свертывающиеся формы, стремятся к упрощению, но это не та простота, в которую по-пастернаковски впадаешь как в ересь,

в неслышаность, здесь впадаешь в глухоту, и старость не молодеет, даже в фаустовском обнадеживающем, дьявольском фокусе возвращенной молодости, а в падает в детство, в старческий маразм, хотя только с возрастом можно понять, что там такое писал в самых неприятных романах Дюла Йеш «В ладье Харона» или такой милый Зоценко в страшных «Возвращенная молодость» и «Перед восходом солнца. Повесть о разуме». Молодость не теряется до конца, но уже потом возвращается как издевательство. В том то и беда, что с возрастом каждый молодеет, оставаясь таким же каким и был. Чувства неопределимы через интеллектуальную способность к суждению, которую хотел внушить И. Кант, прежде всего себе, они убиваются, когда от них не удастся избавиться. Прав Поль Валери: «Идеал — это манера брюзжать». Но брюзжу не я, а дребезжит время. Выработанные стыки, сквозь которые как плохо притертые салники сочиться вечность, когда давление грозит раздавить. Это значит, что ты на пределе).

4. Элвис Канетти вполне определенно выразился: «Ненавижу эту вечную готовность к Истине, истину по привычке, истину по обязанности. Истина — это, скорее, гроза: очистила воздух и прокатилась дальше. Истина должна ударять, как молния, иначе в ней нет силы. Кому она ведома — пусть боится ее. Нельзя истине стать собакой при человеке, коре тому, кто вздумал бы ей посвистеть. Не по ней поводок, негоже ей быть и жвачкой во рту. Не надо ее откармливать, не надо ее измерять — пусть себе растет, мирно и страшно. Даже и Бог чересчур фамильярно обошелся с истиной, *ею* и задохнулся» [X]. Но бывает ли молния в выгребной яме? Как-то в 1992 году в ответ на мою первую книгу Юрий Андреевич Жданов очень осторожно написал не очень юному, но молодому, умудренному и всезнающему как змея мне, дескать, у вас так все красиво и живописно, настолько все эстетизированно, что может быть когда-нибудь и будет востребовано, если человечество не задохнется и не погибнет. Сейчас нужны книги, которые как молнии ударят по этой навозной куче. Тогда он был еще жив и полон сил, с чувством юмора у него всегда было хорошо, поэтому мой лаконичный ответ: «Представляю себе молнию да в кучу... Можно я буду подальше?» Не показался ему наглым.)

I. *Иоанн Дамаскин*. Точное изложение православной веры. — М.; Р-на-Дону, 1992. — С. 83.

II. *Розанов В. В.* Опавшие листья // *Розанов В. В.* Сумерки просвещения. — М., 1990. — С. 481.

III. Там же.

IV. *Фихте И. Г.* Первое введение в наукоучение // *Фихте И. Г.* Соч.: В 2 т. — СПб, 1993. — Т. 1. — С. 464–465.

V. *Флоренский П. А.* Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. — М., 1914. — С. 37.

VI. Как тут не вспомнить все, что измыслило Восточное Православие о «Вечной памяти», пока приходилось расписываться собственной кровью, потому что венная память — тяжелая память, она на сносях, но разродиться не может. В каком-то смысле и возникновением искусства и философии мы обязаны этому стремлению не ко временному поминовению, а к Вечной памяти, которая есть мысль. И образ.

И воображение. Память и воображение, которому память — простор, Память, которая не забывает даже о забвении — основание объективности красоты и чувств, но в еще не воссозданной форме. Так мрамор из осадочных пород мыслей, чувств, оттенков, отношений, всех осадков забытой истории еще не знает, что он уже под резцом и превращается, почти по человечески испытывая боль, уже превратился и не камень, — Венера Милосская, — по счастью не ощущает банальность и заявленность взглядами, оставаясь свежим в истоке, по старой памяти, которая молодая и всегда там, где жизнь еще не опускается на дно мертвым последом. Велик соблазн вспомнить все написанное, и верно, читанное-перечитанное у П. Флоренского о Памяти (ведь и он не оригинален, были предшественники пофантастичнее) и, припомнить Бергсона в мании, то есть исступлении «мысли, которая и есть память, сама мысль в ее чистейшем и коренном значении». Но пусть вечную память сотворяют другие, меня интересует забвение навек, навсегда, когда единственное, что остается сберечь человеческое, не открывая ничего чужому времени. Прежде философия начиналась с удивления и питалась сомнением, нынешняя начинается с недоверия, в том числе и философии и уныния, которым же и заканчивается с облегчением, тем более что «уныние» специальным постановлением, буллой было выведено из состава смертных грехов, к сожалению, прелюбодеяние и лень остались.

VII. Шеллинг Ф. В. Й. Философия откровения / Пер. А. П. Шурбелева // Шеллинг Ф. В. Й. Соч.: В 2 т. — СПб, 2002. — Т. 2. — С. 402.

VIII. Шеллинг Ф. В. Й. Философия искусства / Пер. П. С. Попова. — М., 1966. — С. 419–420

IX. Канетти Э. Заметки 1943–1972 гг. // Человек нашего столетия. — М., 1990. — С. 254.

X. См.: Кузнецов Л. Е., Хохлов В. В., Фадеев С. П., Шигеев В. Б. Бальзамирование и реставрация трупов: Руководство. — Смоленск; М., 1999.

**Анотація.** У статті розглядаються деякі аспекти випадкової волі в її співвідношенні з простором та часом сучасності. Особлива увага наділяється історичній пам'яті, пов'язаній з поняттям сучасності в її екзистенціальних вимірах. Все це вирішується як проблема трансцендентальної естетики.

**Ключові слова:** час, простір, пам'ять, трансцендентальна естетика, випадковість, воля.

**Аннотация.** В статье рассматриваются некоторые аспекты случайной свободы в ее соотношении с пространством и временем современности. Особое внимание уделяется исторической памяти, связанной с понятием современности в ее экзистенциальных измерениях. Все это решается как проблема трансцендентальной эстетики.

**Ключевые слова:** время, пространство, память, трансцендентальная эстетика, случайность, свобода.

**Summary.** In article some aspects of casual freedom in its parity with space and present time are considered. The special attention is given to the historical memory connected with concept of the present in its existential measurements. All it dares as a problem of the transcendental aesthetics.

**Keywords:** time, space, memory, transcendental aesthetics, accident, freedom.